

18+ Юрий Сотников

ВОВКА

рассказы и повесть

Юрий Сотников

Вовка. Рассказы и повесть

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67871658

ISBN 9785005674388

Аннотация

Что можно аннотировать? – только суету и обыденность жизни. А приключения души и тела всегда необычны, чудесны, волшебны – и рассказать о них в трёх строчках нельзя. Мне для этого понадобилась целая книга Книга содержит нецензурную брань.

Содержание

РАССКАЗЫ	5
=====	11
=====	19
=====	40
=====	62
=====	70
Конец ознакомительного фрагмента.	85

Вовка

Рассказы и повесть

Юрий Сотников

© Юрий Сотников, 2022

ISBN 978-5-0056-7438-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

РАССКАЗЫ ЗЕЛЕПУШКА

Почему мы, простые рабочие люди, так суетливы со властью предрержащими? И не важно, большой это кабинетный чиновник или мелкая сошка на уровне домоуправа.

Вот вчера мы с товарищем ехали на машине с работы. А багажник загружен был всякими инструментами, которым место не поместилось в кабине – и они своими деревянными ручками-мосолыжками торчали наружу. Их, конечно, заметил строгий дядька гаишник, стоявший на перекрёстке.

Это я так подумал сначала; а наяву, перед дверцей, он оказался совершенно нестрогим, а более того добродушным.

– Здравствуйте, молодые люди, – сказал он сам молодого, своей служебной лаской и молодостью чаруя нас, чтобы мы не дрожали. – Капитан Зелепушкин, к вашим услугам, – и в его устах это предложение прозвучало как приглашение на бал, где ещё неизвестная всем нам золушка обязательно потеряет хрустальную туфельку.

Но мы, трусоватые зайцы, даже забыли с ним поздороваться – сгореть от стыда нам.

– А что мы нарушили? – сразу же надул губы мой обидчивый дружок, крепче вцепляясь в руль, словно боясь что у него отнимут машину. – Вроде бы медленно ехали.

– Да в том-то и дело – вы ничего не нарушили. И поэтому я вас остановил – всего лишь поблагодарить за ответственную езду, за удачный стахановский день. Ведь мимо меня всегда ездят одни дельные клерки на джипах и их деловые дамочки на красотулях – а тут вы вдруг со своей недорогой машинёнкой, с кайлом из багажника, которое сегодня на славу подтупилось на бетонной щебёнке и твёрдой земле. – Он хитро поглядел на нас из-под тёмного козырька, сияя золотою кокардой с орлом – что, казалось, вот-вот-вот взлетит над фуражкой, воспарит, схватив за волосы хозяина. – Или я ошибаюсь?

– Нет, вы совершенно правы, – вступил я в беседу, оправившись быстрее товарища, потому что сам не сидел за рулём. Полосатая палка капитана Зелепушкина уже казалась мне неловким копьём донкихота, который каждый день выходит на большую дорогу – величественно, как само добро, защитая страждущих и обездоленных; но по причине повсеместного зла на дорогах у него не всегда получается. – Мы едем с виллы одного богатого гражданина, коему сегодня копали да долбили выгребную яму.

– Вы едете с виллы, или с вилами? – улыбчиво скаламбурил капитан Зелепушкин, быстренько проглядывая документы на машину. Они его совсем не интересовали, а ему была интересна беседа, как будто в ней мог проявиться какой-то непонятный интерес для него. – Вам лучше ответить первое, – намекнул он, подмигивая моему другу левым гла-

зом; – в противном случае я вынужден арестовать вас за свиливание чужого имущества.

– Вилы остались на вилле, – тоже разулыбался я ответно, чувствуя родственную душу в этом волшебном гражданине. – Вилы хозяин завилит в вилок капусты на огороде, и теперь его пёс рядом с ними виляет хвостом, охраняя.

Капитан Зелепушкин протяжно вздохнул: – Пёо-ооос... У меня раньше жил кобелёк по прозвищу Рыжик – когда он чихал, то я звал его Чижик, а если пыжился, то Пыжик.

– А где он сейчас?

– Да тоже где-то здесь, на дороге. Он выучился в школе милиции, только позже меня на семь лет, и уже со своей опергруппой отлавливает грабителей большегрузных машин.

– Вы б его теперь не узнали. Скорее всего, он стал хищный, матёрый – и привык видеть в людях плохое.

– Что вы... – простёр руки к своему сердцу капитан Зелепушкин. – Он всегда отделял и работу, и жизнь, не позволяя им касаться друг друга. И жену себе выбрал из иного социального круга – она охраняет библиотеку. – Задранный к небесам указательный палец капитана показал мне, как глубоко он уважает гуманитариев.

Я сокрушённо цыкнул языком, словно опоздав на улетающий самолёт: – В библиотеке я давно не был. Уже лет десять. – И хитро зыркнул на Зелепушкина: – А может, там сейчас и мои книги стоят на полках – грустно пылятся, или

их запоем читают разные пассажиры.

– Посетители, вы хотели сказать, – поправил меня капитан; и тут до него дошло, добежало, доехало: – Так вы писатель?! Что же вы молчали? А как ваша фамилия, и о чём пишете?

– Я монтажник-высотник больших и малых окрестныхстроек. А фамилия моя пока ещё не очень известная, чтобы я её называл. Вот когда прославлюсь немножко, то обязательно распишусь собой на вашей пёстренькой палочке.., кстати, капитан Зелепушкин – сегодня я напишу о вас, и про нашу встречу.

– Про меня?! И это будет напечатано в толстом журнале? Боже мой, вот это слава! – Он был удивлён, обрадован, и чутьточку шооо-кирован; но не как случайная бледная моль случайно на телеэкране – а по-мужски, словно объявившийся народу тайный талант. – Тогда, пожалуйста, напишите ещё и про рыжика. Можно?..

– Ну конечно, можно. Только – про гриб, или о собачке?

– Знаете, а расскажите там обо всём. Потому что грибы – это моя самая большая улика.

– Удовольствие, вы хотели сказать, – поправил я капитана Зелепушкина. – Я ведь тоже обожаю лес и поле, очень люблю маслят и свинушков; к тому же на природе меня посещает неизъяснимое вдохновение, которое трудно вызнать в душе, сидя среди бетонных стен высотных этажерок.

– Вы любите масляток, – повторил за мной капитан. –

А знаете, что их нельзя чистить – нельзя ни в коем случае счищать тёмную шляпку с их головы, маслянистую плёночку? потому что тогда они теряют свой жирный бульон, напитанный зелёной хвоей и чёрной землёй, и становятся похожи на пресные опавшие листья, а вкусом на новую кухонную губку.

– Да я и никогда так не делаю, – честно-честно поклялся я Зелепушкину, приставив свою ладонь к картонной иконке, наклеенной как оберег у бокового зеркала. – Их можно даже не отваривать, а сразу на разогретую с лучком сковородку. И легонько подсаливать во время всей жарки, чтоб не горчили земелькой.

– Ах, как я рад что вас встретил, товарищ писатель! Я искренне очаровался нашей беседой.

– И вы мне взаимно приятны, капитан Зелепушкин. Ждите, пожалуйста, книжку с рассказом о вас и о вашей собачке.

– Рыжик! Запомните, пожалуйста – Рыжик. А то он обидится, когда кто-нибудь будет читать про него, и без имени.

– Мне уже не забыть.

Я толкнул в плечо задремавшего приятеля, а капитан Зелепушкин поспешил отметить к своей синей будке.

– О чём ты с ним говорил так долго? Я даже успел сон увидеть.

– Мы говорили о жизни.

– Дурень ты, – покрутил дружок у виска, намекая на мой детский ум. – Разве можно с гаишником так?

– Нужно. Он простой человек. – Мне было обидно за своего глупого трусливого товарища, и за всех других товарищей тоже, которые вместо доброго слова суют Зелепушкину деньги.

Капитан Зелепушкин – я знаю – ты родственник Пушкину, только ваша семейная ветка чуточку помоложе, позеленее. Я обещал и посвятил тебе большой рассказ о нашей приятной встрече. Прочти его, пожалуйста, Рыжику – если встретишь его на задании. И отзовись в комментариях – что ты помнишь меня. Твой рабочий товарищ – Юрий.

ПОЛИЦЕЙКИ

Даже не знаю теперь – нужно делать добро или нет. История-то занятная получается, с переворотами с ног на голову.

Я на днях увидел со своего седьмого этажа, как мать на рынке потеряла одного из малышей. Металась минут пятнадцать между палатками; а мне-то сверху видней – я вышел помочь. И взял за ладошку совершенно чужого ребёнка. Пришлось давать объяснения в полиции.

Почти как под дулом.

– Сколько вам лет?

– Столько.

– А почему вы так молодо выглядите?

Наверное, они подумали, будто я принимаю ванны из крови младенцев.

– Скорее всего, потому что спокоен – а ведь вы знаете, как переживания отражаются на лице.

Допрашивали меня две молодые женщины из по делам несовершеннолетних, и одна из них после моих слов сразу же посмотрелась в настенное зеркало. Видимо, всё в нём было по-прежнему, и она себе улыбнулась.

– Место вашего рождения?

– Там.

– А почему вы живёте здесь?

По всей видимости, они решили, будто у меня именно тут место схорона – за кладбищем, под осиновым колом. Я не стал разубеждать их.

– Наверное, потому что привык за много прожитых лет – а привычка вторая натура.

– Вы женаты?

– Нет.

– А почему?

Вот это уже стало интересно: две молодые незамужние дамы задают старому холостяку очень пикантные вопросы. Мне захотелось пооткровенничать с ними; тем более что одна из них, с коротенькой стрижкой фривольной француженки, закинула ножку на ножку и была хороша.

– Это бы надо спросить у моих возлюбленных женщин. Я трижды делал предложения разным замужним дамам и получил три отказа. Как вы думаете, что во мне не так?

Инспекторша с длинной причёской мадонны искоса, и от этого строго, посмотрела на меня, едва оторвавшись от протокола: – Здесь не ночной клуб, и вопросы задаём мы.

Француженка, услышав её горячий нравственный тон, тут же сдвинула ножки и одёрнула юбку. Но я успел заметить подозрительный синячок у неё над коленкой.

– Спрашивайте. – Мой кивок был таким же горячим да пылким. Я всегда за торжество правосудия – если, конечно, оно без ошибки за справедливость.

Мадонна вздёрнула брови; я в журнале читал, будто это признак симпатии или внимания – но так как любить меня ей было пока не за что, то значит, она решила прощупать моё ершистое нутро. Я сразу встал у своего сердца начеку, неподкупным караульным.

– Скажите, пожалуйста, а есть ли у вас свои личные дети?

Интересный вопрос. А кто о том знает, кроме их матерей.

– Вы имеете в виду, нет ли у меня левых зачатий на стороне? Но ведь без обмана это может установить только генетика – а всё остальное лишь голословные сплетни. Признаюсь, наставлял я рога мужикам – но всё это в тайне, и без скандалов.

Чёрная крашенная чуприна француженки приняла на себя красноватый оттенок от заполыхавшей щеки. Какая же она красивая! – подумалось мне – когда искренне смущается. Голос её стал хоть и дрожащим, да гневным: потому что за ней приглядывала более опытная подруга.

– Оставьте свои грязные рассказы для других!

А будь мы один на один, двое стыдливых и откровенных, я обязательно попробовал спеленать как муху её – её, влекомую вечным варваринным любопытством. Кто он? откуда? почему со мной так говорит? – она бы сунула носик всего лишь, а я чёрным хоботом всосал её всю.

Но мы не одни, а с подружкой – и к тому же дверь стукнула, подошва о подошву грякнула, и вошёл боевой капитошка.

Оооо, капитан был красивей меня. И так хорош! Он по-

ходил на селезня в брачный период. Блестящие перья его синеватого мундира отливали охотой, гоном, и кляканьем очарованных уток, которые сладостно падают белой грудью под пули.

Полицейские девчата сразу взбодрились. Каким бы не было отношение ко мне – но я подследственный гадкий утёнок; а тут им явился свой ведомственный крик, и его гортанный голос влёл их к чему-то непонятному, но манящему.

– Здравствуйте, девушки! Чем вы тут занимаетесь?

Он краток, гремуч и спортивен: и даже без букета цветов готов, кажется, ухаживать за всеми полицейскими дамами.

– Здравствуйте, товарищ капитан. – Хоть это обращение и вышло из моды, но для них оно звучит нежнее, чем господин или гражданин. Девчатам, верно, хочется быть подружками красивого капитана.

– У нас всё обыкновенная женская рутина, – с привлекательным несмелым кокетством ответила мадонна, гордо вздёрнув причёску и осветив лучами из окна свои сияющие глаза. – Вот у вас, наверное, погони и выстрелы – берегите себя.

– Спасибо вам, милые девушки, что вы так за меня беспокоитесь.

Он широко улыбнулся; он расставил ноги в берцах как богатырь; но он не сказал – за нас – чтобы не расплыть девичье беспокойство на всю свою опергруппу. Ему одному быть хотелось героем.

– Вы прямо с задания? Наверное, страшно было. – В мадонне пламенными отблесками полыхал огонь поклонения, который мог затушить только новый идол.

– Да ну что вы! – Капитан напряжился; вот такими раньше рисовали на плакатах фанерных стахановцев. – Кто меня может напугать?

Он больше посматривал на француженку: он мечтал разговорить её, растащить стыдливость на лёгкие фразы, на фривольные намёки – но сам был не очень далёк, чтоб начать беседу с умненькой женщиной, а она почему-то молчала, опустив головку в бумаги. Скорее всего, она тоже жалела, что сама не такая уж глупенькая, и не может простить капитану его недалёкость за его красоту.

– Дааа, вы действительно герой. – Мадонна ловила на себя его цепко устремлённый взгляд, подсовывала белую грудь и пухлые руки. Но капитан отвечал ей только голосом, всё остальное задаром предлагая француженке.

– Ещё бы – не зря ведь меня собираются выдвигать на майорскую должность. Скоро я и вашим начальником стану.

Шутливо выпятив подбородочек, исполнительная мадонна бросила ладонь к виску, в полном смысле отдавая свою честь:

– Приказывайте! Мы и сейчас готовы для вас на всё.

– говори за себя... – тихо поправила её гордая француженка, видимо не желая угождать любому начальству.

Вечный, но всегда интересный сюжет – когда замкнут

в своих тайных и явных страстях разносторонний любовный треугольник. Я тут, конечно, в сей миг всего лишь мелкий статист; но наблюдаю за натурным любовным кино с бешеным интересом пса, который по своей нерасторопности остался не у дел на собачьей свадьбе. То-то будет, когда блестящий капитошка уйдёт.

– Ну досвиданья, милые девушки. Спешу на задание. Если меня ранят, то приходите навестить.

Господи – он ещё и кровью их решил повязать. Ей-богу, прямо детский сад на горшочке.

– До свидания, – чётко сказала мадонна, глядя в лицо обожаемому.

– до свид... – пролепетала сконфуженная француженка в уже закрытую дверь.

В одну тонкую линию вытянулись губы мадонны; из прежде добрых глаз сверкнули две молнии.

– Слушай, зачем ты с ним так?

– как?.. – Опять тихий голос, и снова боязливый взор на белый лист протокольной бумаги.

– Каком кверху. Я вообще не пойму, что ты из себя строишь.

Мадонна мстила и за себя, за свою обделённую симпатию; но я был уверен, что в ней незаметно тлеет злым огоньком и капитанская обида – чем ты лучше всех нас? неужели из высшего общества?

– А что я должна была сделать? Может, дать ему прямо

здесь, на столе, подложив под задницу протоколы?

Ого!, да у этой француженки наш русский гонор. И она сейчас размажет себе на бутерброд бесстыжую любвеобильную мадонну.

Я мысленно потёр ладони в предвкушении свары, затаившись огромной серенькой мышкой прямо перед их очами. Когда дамы валтузят друг дружку, то они ничего вокруг не замечают, и я был просто пятном у стены.

– А давно ли ты целкой стала? А? Сама мне рассказывала, что с пятнадцати лет с мужиками махаешься! – Мадонна всерьёз осерчала, и её верно слышали уже за плотными дверьми кабинета.

Француженка от этого крика даже успокоилась, посмелела. Так часто бывает в душе у не особенно тонких натур, когда на них начинают орать. Они внутри себя самоорганизуются против вампиров, которые пытаются высосать их сердце и силы.

– Я давала тем по любви, или во всяком случае, по симпатии. А твой капитан бестолковый болван. О чём я буду с ним говорить до и после? да и сможет ли он завлечь меня такой пустой головой.

– Ну ты и дура! Зачем тебе голова, если хрен есть моржовый?

Они недоумённо посмотрели друг на дружку; потом распоняли сами себя, и расхохотались. Их смех был намного веселее и привлекательнее, чем ругань.

Почуяв, что девчата сейчас обязательно заметят меня, я лично им подал голос: – Миленькие, а что будет со мной?

Мадонна удивилась мне как мышонку на письменном столе, и ойкнула: – ой... Ойёёй!

Но француженка смело показала мне на норку, на дверь:

– Да идите вы на хрен!

– Как же так? – съехидничал я, уже унося свой длинный хвост, длинный нос, и всё остальное.– А пристрелить меня за поедание младенцев?

– Хорошо. – На порозовевшем лице мелькнуло подобье иезуитской улыбки. – Когда будете выходить из подъезда, я на вас цветочный горшок сверху сброшу.

В самом деле: выходя, я услышал шурхание над макушкой, и интуитивно отскочил в сторону – лишь слегка зацепило плечо. Но это был не цветочный горшок, а воронья кашка.

ОСОБНЯК

Долго путешествуя пешком по полям, лесам и весям, выпив всё из фляжек до капли и томясь от жажды, когда солнце палит безжалостно, особенно по таким вот открытым миру путникам – я люблю зайти в маленькую деревню, выгадывая где-нибудь у захудалого двора деревянный колодец с воротом. Таких уже мало осталось на свете; но если наткнусь, увижу или унюхаю, то обязательно сяду возле него пообедать.

Уж кажется, мучила такая страшная жажда, что и ведро бы выпил, и весь этот благодатный оазис в раскалённой пустыне – но хлебнёшь всего лишь с поллитра студёной воды, пахнувшей тиной да лягушками, и всё – желудок от копчика до глотки наполнен сытостью, разнотравьем, ароматами и впечатленьями. На рюкзаке разложен простецкий обед – хлеб сало картошка да лук – а я сижу фонбарон, словно предо мною графское рандеву с десятью переменами блюд. И во фляжке не вода, но вино – я пьянею от необъяснимой радости тела и духа.

Из воротец вышел подслеповатый дед в овчином жилете и внуковой кепке-бейсболке. Приложив ладошку ко лбу, он оглядел меня с дали – но не узнал как чужеродного незна-

комца. А подойдя ближе, то вроде б узнал; и спросился: – Пардон, вы не вы ли здесь жили столетье назад, когда дом тут в поместье стоял огромный – с обслугой, статуями, да жёлтой конюшней?

– Может и я, милый отче. Сам не помню, из памяти временем стёрлось, и наждачной бумагой много-многих событий. А что вы хотели узнать у меня, если я?

– Да вот мне от бабки достались, а ей от прабабки, а той от прапра: ключи-то от вашего барского дома нужны вам? хоть и отворять уже нечего.

– Ничего, я возьму. Принесите мне, отче, пожалуйста.

Он вздохнул, уходя: наверное, вспомнил себя ну совсем ещё маленьким отроком, кой со страхом и неизведанной сладой блуждал среди белых статуй, представляя себя как хозяйина на белой же лошади – и рядом бледной барышни очарованный взор.

Я встал на приступок колодца, потом на венец, чёрной шпорой ботинка попирая подгнивающее дерево. Где же земли мои, прекрасные многогородные земли, не отягощённые дворянским распутством и ленью? Поля, лес, река – сине-жёлто-зелёная нега, в которой...

– Пардон, – прервал тут мои размышленья бестактный старик; и я едва не упал. – Вы просили ключи свои, ваше сиятельство. Вот они.

– Спасибо вам, отче – вы меня напугали; я грезил о доме и кормилице доброй своей. Как мне их повидать?

На эти слова улыбнулся хитренький дедушка, потерев под очками смешливые слёзки: – Да от дома остались лишь две белых колонны у входа, с нехорошими надписями бойких мальчишек, и развалины комнат прежде красивых уютных, по коим теперь лёгкий ветер гуляет. А добряшку кормилицу вы найдёте на древнем погосте, у церкви – но все кресты там давно без имён, и едва ли вам хватит всей жизни, чтоб её отыскать.

Я снял с головы свою кепку в хладной горести забвения вечного; но сердце моё не забилося сильнее от тоски, потому что не помнил я облика сей милой мадонны, вскормившей меня густой смесью сказок и материнского молочка.

– Прощай, славный отче, хранитель судьбы и печали, – сказал я без скуки, уже завораживаясь долгим путешествием по старинному дому. И пусть там развалины, пусть сквозь крышу видать облака – но обязательно есть хоть одно неходячее место, где остался нетронутым след эпохальной ноги, есть местечко на белой колонне, где впечаталась чья-то ладошка, давно в ожидании милого друга. Я желаю почувствовать жаркий пепел сердец и бурлящий прах тех событий, чтобы хоть малость понять, зачем нужна с виду бесполезная сила жизни жестокому безумию вечности.

Особняк был укрыт от глаз густой зеленью берёзовой рощи. Сто лет назад он своей красной черепицей довлел над маленькими деревцами – потому что алый цвет это ярость,

а зелёный всего лишь уют и покой. Но потом прискакала на взмыленном жеребце революция, у которой ярость оказалась совсем уж багровой, с синюшным смертельным оттенком, и снесла изнеженных баринков вместе с крышей в подполье. Когда я смотрю в упор на такие владения, то мои очи становятся как дуло у пистолета – я бы сам без жалости плюнул свинцом в любой из этих толоконных помещичьих лбов. Как они вообще посмели жить в распутстве и лицемерии лени, глядя на явное разрушение своего любимого – а ведь они клялись за родину, за веру – любимейшего отечества под немощной пятой давно уже слабоумного царизма.

Нет, мне этих выродков рода не жаль – а жалко детишек их малолетних, которых без вины разбросало сиротами по белому свету, и зодческую красу барских домов, что терпят упадочную разруху.

Навстречу из кустов выскочил в прыжке рыжий пёс. Мужчина, мужик – судя по ощеренным крупным клыкам; но отрок, мальчишка – глядя на его белозубую улыбку, коей он оделил меня с первого мига знакомства. Все рыжие псы очень гостеприимны – я давно уже это заметил; сначала они ходят вокруг да около, вынюхивая гостя, но не тушуясь от встречи – а потом, стоит их только погладить по холке и слегка потрепать под брюхом, сразу становятся дорогими товарищами, лизя милого гостенька в ладони, щёки да нос.

Этот же пёс сразу завилял мне хвостом.

– Привет. Ты, наверное, хозяин всех здешних мест?

Он подошёл ко мне ближе, слегка склоняясь бочком в сторону – словно бы и желая ласки, и стыдясь своего мягкотелого собачьего состояния. Видать, что пёс здесь давно один, может быть даже без хвостатых дружков – и соскучился по доброму общению.

– Ну скажи мне что-нибудь.

– Гав, гяв-гяв, – твякнул он слишком нежно, по-детски; ему от силы было года полтора – и родился он, верно, в тех же кустах откуда и выскочил.

– Ах ты, зелепута, – склонился я к его длинной морде, мило трепя её в своих ладонях как шерстяную игрушку. Ошейника не было, поэтому я слегка взял рыжего за ухо и потянул за собой. – Показывай, как тут у вас.

Да всё так же. Заградительные кусты калины и волчьих ягод, что издали кажутся усеянны крохотными алыми флажками, предупреждая – опасность; чуть поодаль вторым фронтом колючая сетка из шиповника и дикой розы, сквозь которую можно прорваться только с прорехами в одежде и жгущими царапинами там-сям. Ну а самым последним тыловым отрядом, смертельным бастионом, командует злючая крапива, в подчинении у коей ещё и репей с чертополохом.

Хорошо рыжему – он шныряет здесь свой, его любят; а я вижу впереди только хвост трубой, волдыри, да чесотку – и ни капельки гостеприимства. Поместью уже никто не нужен, и оно от пришлых обороняется как от врагов.

– Рыжий, подожди, не спеши, – сказал я негромко, хотя он

и далековато умчался от меня. Просто не хотелось кричать в таком тихом, и почти благодатном месте.

Пёс не услышал меня; но прибежал, потому что соскучился. Не блудливая, а верная морда его была усеяна какими-то сухими лепестками от неизвестно чего – шкура свалаялась репьями, их целыми гроздьями – и только весёлый хвост остался чист, рыж да улыбочив.

– Гяв, – твякнул он всего один раз, что значило – я здесь. Мне уже стал понятен его собачий язык, розовый и мокрый.

– Рыжий, ты слышишь как речка шуршит в камышах? как ряской и лягушками пахнет? Тогда веди меня к ней.

Пёс радостно взвился прямо к моему носу, но не достал, и вместо него лизнул железную пуговицу со звездой на моей солдатской рубашке.

– Гяв-гяв, – сказал он, – держись за мной, – и пару раз оглянувшись назад, понёсся по едва ведомой тропинке.

Я так не могу – я ведь и ростом повыше, и опаской умнее. Вдруг вон в тех зарослях дикого малинника притаился сладкоёжный медведь, которому вкусной ягоды самому кажется мало? а тут ещё мы, со псом два нахлебника. Он конечно и сам может нас испугаться, обделавшись от внезапного страха; но если не струсит, то драпать придётся нам с рыжим.

Склоняясь под сенью густо переплетённых ветвей, я нарочно напевал песню про белых медвежат из кинокомедии – про то, как трутся они спиной о земную ось; только мой хрипловатый голос звучал в тихой зелёной сени фальшиво,

словно эти косолапые зверюшки ещё в детстве мне оттоптали все уши.

Шагах в десяти от меня раздалось залиvistое тьякканье; а потом хлопанье крыльев и тревожный стрёкот сороки. Видать, мой рыжий наткнулся на сонную лёжку, или даже на целое гнездовище птенцов. Наконец-то раздвинув последние заросли, я вышел на волю, на пологий бережок узкой речки, которую легко переплыть в пяток широких размахаев.

Реки бывают быстроходные, многоходные, вездеходные – и они, конечно, тоже красивы пенными приливами да золотистым песком. Но сердечнее всех других деревенские речушки. Потому что огромную стремнину целиком в душу не загонишь, не запомнишь её от края до края: она будет цепляться за белый свет острыми углами своих теплоходов, буксиров и барж – она обязательно, стекая под сердце, застрянет бурным руслом на заломистых шлюзах. А маленькая речушка вольётся вовнутрь ещё детской души как бабушкино печёное молоко, вся словно из глиняной кружки, и уже выросшая душа легко вспомнит вкус тёплой топлёной пенки.

Особняк, вросший то ли в землю, то ль в кустарники, костляво торчал своим серым остовом на взгорке противного от нас бережка. Терпеть не могу слово противоположный – как будто он ложный; а там всё было явное, верное, словно бы даже и склепы с мощами сохранились до наших дней.

Я свободно как адам разделся догола, и даже погладил

от наслаждения свои бледные ляжки, давно уже стыдливо живущие под одеждой. Рыжий потупил свои блестявые глаза, будто я опозорился перед ним срамотой.

– Ты чего это, а? бабой стал... – но не дав потрепать себя за ушами, сконфуженный пёс отпрыгнул вдруг в сторону, и хоть ещё чуточку оглядываясь, потрусил назад в свои дебри.

– Вот тебе, бабушка, и юркин пень... – Я немного возмутился подобной быстротечной дружбой, потому что силком в товарищи не набивался, а рыжий ко мне сам подошёл. – Ну и бог с тобой, чеши-ка подальше.

Привязав к шее рюкзак с одеждой, я потихоньку начал сплавляться как самоходная баржа, увязая ногами в водорослях, а руками в вездесущих кувшинках. Будь на том берегу какая-нибудь симпатичная дроздочка, то я бы нарвал ей цветов и вручил сей букет, выйдя к ней из речной пены как прекрасный афродит. Но в особняке скорей всего жили одни воспоминания о былом – такие же бесплотные, как и мечты о будущем.

Вот люди говорят, будто в старинных заброшенных поместьях селятся неприкаянные привидения – будто бы души тех умерших, кто был зверски убиён или не похоронен по церковному обряду. А мне кажется, что эти белые облаки, которые ночью и днём таскаются по замковым переходам, гремя тяжёлыми башмаками да железными кандалами – на самом деле есть неисполненные грёзы, кои хозяйева

выпустили из души в миг своей великой веры, в мгновенье сердечной радости. Но не дали им вьяве воплотиться, то ли струсив от трудностей, то ль застыдившись своих восторженных откровений. Вот и бродят те грёзы по миру в крепких оковах неверия: там среди всех и мои уже есть – грекают железом, бесятся от бессилья, ждя пока я их раскую.

Ну во всяком случае, одну я сейчас расковал. Мне давно уже хотелось побывать в таком вот заброшенном замке, поглядеть его рошу и сад, статуи, ниши, альковы.

На этом берегу меня встретила чёрная сучка, собака. Она следила за мной пока я одевался, злобно тряся воспалёнными сосками и щеря клыки. Наверное детишки, подрастая в каком-то подвальном логове, её дочиста высосали, до безмясья – и предо мной она дрожала на четырёх костях, слезясь дистрофичной яростью на весь белый свет.

Сала в рюкзаке было мало; зато много хлеба: пока я шибуршил пакетом, доставая добрый кусманчик подчерствешей буханки, а потом натирал его пахучим жирком, псина чуть сама себя не сожрала, от голода клацающая челюстями – и в два прихлопа проглотила моё угощение.

– Уууу, ведьма, – мне вдруг показалось, будто в её красной пасти горит адский пламень.

Дорога к особняку была обихожена. Не сказать, чтобы к ней недавно приложили рабочие руки: но тот древний предстолетний труд окрестных селян стал хорошим заделом для антикварной сохранности барской усадьбы. Восстано-

вить её больше нельзя – она здесь уже никому не нужна, пусто место, несвято; но можно законсервировать в земной банке под небесной крышкой, как допотопный дворец Коллизей, кой уже тысячи лет на весеннюю траву осыпается, да никак не осыпется.

Кверху вела меня гранитная лестница: из того серо-пёстренького гранита, которым нынче обделывают бедноватые кладбищенские памятники, и считают его последней дешёвкой – а тогда, видно, он был в цене. С донизу – до самого, кажется, неба – по бокам вился какой-то сорняковый плющ, поползень без названия.

Псина тоже шла за мной по лесенке, не приближаясь близко. – Ведьма, подойди; – но она только гневно глядела в мои глаза, колдовским нюхом чуя, что я ей больше не дам. Костлявые ноги её почти не гнулись на подъёмах, словно бы она вот-вот выписалась из ветклиники на протезах.

Вообще, чёрные собаки, по наитию с чёрными кошками, мне представляются неглубоко законспирированными колдуньями, пришелицами из другого мира. Может быть, из параллельного, где оживают все наши видения – и хорошие, и злобные. А может, прямо с того света, где бесы выкрашивают грешников в смоляной купели – а потом снова отправляют сюда, чтобы восполнить недостачу своих, которые уже были когда-то давно обнаружены и сожжены на кострах, забиты на осиновых кольях.

Мне вообще кажется, будто у чёрных и зубы острее, го-

лос звонче, очи сверлящей. Это касается и людей, а не только животных. Если рыжий смотрит в глаза с подступающей злостью и даже держит ножик в ладони, то почему-то больше разбирает циркаческий смех, а не страх. Чёрный же может улыбаться в лицо обаятельно, нежно, и всё равно в памяти всплывает добродушная маска палача с прорезями холодных глаз.

Я ль эту псину веду за собой? – подумалось мне, – или она меня толкает в свой потрясающий склеп, где захоронены ужасы пугливых сердец. Днём тут, конечно же, хорошо – солнышко светит да птички поют – но я собирался здесь заночевать. Какие сновидения подарит этот великолепный особняк, глубоко зарывшийся своим величием в землю, спасаясь от безумной ярости своих восставших холопов?

Ветер сквозил по пустым коридорам и комнатам, шмаля новые дырки в и так уже донельзя дырявом, прежде блистательном императорском кафтане особняка. Крыша изрядно проржавела: черепичную голову особняку снесло ещё во время революции, когда сумасшествие всеобщей анархии стихией захлестнуло окрестные сёла; а потом уже, видя как он ополоумел от внове зарождающейся жизни, ему сверху надели железную башку, чтобы он не вертел от любопытства во все стороны своей благородной шеей. Его побелили голубоватым мелом с ближайшей горы, оградили железной музейной решёткой – и в этой смирительной рубашке особняк стал похож на стареющего пациента психиатрии, у которого

такой интересный диагноз, что все приходят на него поглазеть.

Маленьким топориком из рюкзака я нарубил себе приличную горку валежника; в комнате стало уютней от едва разожжённого костра. Словно бы пламя бродячей души заплясало по стенам, вихрясь красно-жёлтыми цыганскими юбками под бойкие гитары чернокудрых молодцов.

Мне больше нравится не сам пламенеющий закат, а уже ушедшее за горизонт солнце. Потому что только в темноте начинают играть на своих скрипках сверчки. Скорее всего, я ушнюк, а не глазнюк. Мне и в женщинах всегда импонирует, благоволирует – в общем, завораживает нутро голос. А не красота. Ну что есть хорошего в красивой женщине, если она всякий день перед зеркалом яво осознаёт своё очарование и корыстно пользуется им? – двигая то так ручкой, то так ножкой, становясь в завлекательные позы. А по сути своей расчётливой натуры превращается в ходячий манекен, без изъянов обворожительный – но всё равно ведь не живой, а игрушечный.

Зато как хороша, как прекрасна женщина с голосом! Не с голосочком приторно-куриным – кудкудах; именно с голым голосом, на лёгкую утробную хрипотцу которого резонируют ещё с материнской житницы – а как иначе её называть – уже настроенные струны души. И пусть эта женщина не так красива, как та прежняя. Пусть она никогда въяве не слышала себя со стороны, и потому не пользуется корист-

но своей блаженной природной изюминкой. Но вот это дарованное ей, слегка стыдливое естество, привносит в душу любящего её человека тайное наслаждение жертвенностью – ах милая, ты единственная такая на свете, жизнь готов за тебя отдать.

Я сидел у распалённого костра, слушал сверчков, и вспоминал свою любовь. Оно всегда так у огня: жаркое пламя словно рисует языками своей огненной кисти виденья объятий, поцелуев и неги. Как жаль, что любимой нет рядом со мной, в яркой темноте тишины – здесь ведь волшебно красиво.

Мне захотелось посмотреть как особняк выглядит ночью; и я встал на полусогнутых, разомлевая уставшие ноги. Взяв в руку горящую головню, поднял её над собой; из угла сначала раздалось тихое повизгиванье, а потом угрожающий рык. Осторожно ступая вперёд, и прикрывая огнём свою драгоценную мотню, я шагнул ближе; тут же на полусвет выползла чёрная морда той ведьмы-собаки: тела её не было видно, и казалось, что скалится на меня отрубленная голова, толкаемая по воздуху нечистой силой.

Наверное, я бы от неожиданного страха описался, как только и могут настоящие мужчины – ёмко, в штаны – если бы не щенята. Они выскочили ко мне бойкой парочкой прямо перед чёрной мордой, неловко лизясь да подпрыгивая; и сердце моё растаяло от нежности вместе с последним куском сала из рюкзака. Вся эта шайка-лейка будто бы случай-

но, ненароком, вывалилась из древности: псина была похожа на ту самую волчицу с трудной собачьей судьбой, вскормившую прародителей Рима, а щенята кружились вокруг неё как маленькие ромулки.

Теперь уже – когда не один, когда рядом кривоноженькая визгливая охрана – я смело пошёл по комнатам, вздёрнув над собой светоч как флаг. Потому что во мраке и трущаяся об ботинок кошка, и даже мышка в кармане, могут стать берегами от близкого ужаса. Вот что-то шкрежетнуло в трёх шагах, а не видно этой опасности, и уже страшно; но рядом со мной живая, а главное, добрая тварь – словно ангел-хранитель на ручном поводке – и уже не она меня, а я её должен оберегать своей пробуждающейся отважной отвагой.

Удивительно, что даже трус становится храбрым, когда под его немощное крыло жалобно просится ещё более слабая божья тварюшка. Помню в детстве мальчишка, отрок сопливый, которого все обижали в нашем дворе, и больше того – издевались – вдруг подружился с мальчонкой трёх лет, себе не имея друзей равноправных. Они вместе играли, смеялись, и в этой радости будто пробудились для жизни, для детства. Но два пацанёнка из дворовых, гавнистенных, тёша свой уличный авторитет, решили унижить эту милую дружбу – и пнули в песочнице ногой малыша. Если б они, дурни, тронули хоть до крови большого мальчишку, то он бы стих, промолчал, осадился на свой тощенький зад – но тут взвился как какой-то тарзан, его хилые кулачонки мелькали везде,

и не было угомона на вдруг пробудившийся бешеный норов защитника, богатыря-спасителя.

Мне стало очень смешно и приятно: я вспомнил себя в тот необыкновенный миг, когда оказался нетрусом – и совсем даже напротив, отъявленным храбрецом. Которому для настоящей отваги – а не липовой наглости, подлости, хамства – нужно всего лишь жить оплотом кому-то слабейшему, и тогда я любые гранитные горы сверну как хлипкую негодяйскую челюсть.

Тьма пред моим факелом походила на путь в тартар: огонь едва освещал дорожку на три шага вперёд и вбок. Мне казалось, что за раззявленными проёмами выбитых дверей таятся целые полчища крыс, или чёрных собак, или совсем уже ведьм. Сзади попискивали те двое щенят, и глухо рычала их уродливая злющая мать.

Средь полного мрака всегда всё кажется необычным и угрожающим. Белым днём себе трудно представить демонов с того света и химеры из параллельных миров. А в темноте маленькие мышинные зубки превращаются в кинжальные клыки доисторических ящеров, и невидимое место укуса сразу распухает до смертельной чумы – так что если запалить последнюю спичку и взглянуть в зеркало, тут же от ужаса окочуришься.

Меня поддерживали на ногах мысли о щенятах. Ведь они в том же мире, где и я: но совсем не боятся мрака, потому

что у них воображения нет – им просто маленьким холодно и они кушать хотят. А я, слепец, напридумывал себе всякой ерунды и сам поверил в неё.

Вот так, с искренней улыбкой от наивности наших страхов, мы дошли до двери в винное подземелье. Почему винное? – ну а какое ещё может быть подземелье в барском поместье, где проживают богатые родовитые люди, где устраиваются балы, развлечения, фейерверки – а самое главное, там и сям шастают хоть и нагловатые, но очень обаятельные гусары, жадно охочие до выпивки, а потом уж до барышень.

За прошедший век прежде крепкая дубовая дверь основательно сгнила: перепоясывающие её железные полосы облетели на пол ржавой коростой, а бронзовые заклёпки позеленели и раздулись как жабы. Теперь это уже была слабая беззащитная дверца – и когда я её потянул, она едва на меня не свалилась, то ль скрипя, то ли плача.

– Ну что, войдём?

Голос мой нарочито зазвенел уверенностью, и даже какой-то благополучной отвагой – словно бы я знал точно, что нам драться с врагами придётся, но мы победим.

– вяувяувяу! – пролаяли щенята душеспасительными фальцетиками, заранее прося о пощаде тех, кто стоял там за дверью притаившись во мраке.

И мы шагнули вниз.

Я сразу подумал: звенят цымбалы. Хотя у меня нет никакого представления, что это такое, но по опыту жизни

и по памяти предков я вижу какую-то большую медную тарелку, по кругу унизанную мелкими погремушками: и когда она обо что-нибудь ударяет бам, то они отвечают ей – цым. Ещё слышались звуки рояля: для моих немзыкальных ушей вполне себе похожие на фортепьяно или пианино. И конечно же, скрипка – потому что ни в одном подземелье без неё нельзя обойтись – она навевает любой, даже гениальнейшей бренности, мысли о тленности.

Умирать не хотелось: но там где-то – откуда? – откуда! – пробивался тонюсенький свет, ударяясь о факел вместе со звуками музыки. А свет – это жизнь, это вера с надеждой.

Вскорости я уже потушил свой огонь, ориентируясь на туманный светоч в этом тоннеле, призывающий, манящий. Мы со щенятами и их чёрной мамкой были похожи на четырёх младенцев, родимчиков, спеша к выходу из тёмного чрева барской утробы. Но куда? – в неведомое.

Дальше идти и что-то искать было незачем. Перед нами ещё одна дверь из пузырьчатого стекла, а за ней громко играет мазурка и кружатся тени смеясь. Неужели там бал? – ведь прошло столько лет, пролетел целый век.

Я легко отворил невесомую дверь – и обомлел от видения, которое явно показалось мне сном. Так и сон часто кажется явью, когда в нём вдруг представляются живыми уже умершие родычи или друзья, напоминая о себе жестами и улыбками, коих ни у кого на земле быть больше не может. И здесь передо мной явился полный зал давно умерших людей, го-

лых скелетов в ветхой одежде, но от души веселящихся.

Ах, я совсем не боялся! – мне не было страшно. Наоборот, мои волосы поднялись дыбором от счастья такой невообразимой удачи, от возможности побыть чуточку на переломе жизни и смерти, бессмертия и бренности, единого мига и вечности. Я почему-то сразу уверился, что в этом по-своему прекрасном обществе меня никогда не обидят.

К нам подошёл высокий мажордом с очень впечатляющим черепом, и клацая нижней челюстью об верхнюю, наверное, спросил – как вас представить гостям?

Это был вышколенный и самоуверенный мажордом, много повидавший на своём длинном веку. Он отличался завидным хладнокровием: его кровь давно уже примёрзла к костям.

– Позвольте, я сам это сделаю по мере знакомства, – ответил я ему, и прошёл мимо, стараясь нарочно погрязнуть суставами и мелочью в кармане, чтобы меня приняли за своего. Щенята, теперь уже весело погавкивая, рванулись вперёд, узрев какую-то миловидную дворняжку, её бледные косточки с розовыми бантиками, возлежавшие на пуфике. Она блаженно потягивалась, чувствуя на спине поглаживания своей хозяйки, которая протягивала ей давно высохший куриный мосол. Рядом с хозяйкой сидела дама помельче – может быть, дочь – и шептала маменьке на ушко последние светские анекдоты. А позади над диванчиком возвышался грубоватый бравурный кавалер, вертевший головой во все сто-

роны, чтобы никто не зацепил его дам.

Это я всё так рассказываю, что будто бы дамы и кавалеры. Но на самом деле я пришёл почти во склеп, и присутствую на балу настоящих скелетов, которые живут в моём прошлом – но в своём естественном мире, понимая его как единственное существо на земле. Они разговаривают и слышат друг друга, радуются и горюют, наверное – а я только по кланицанью их челюстей могу себе представить темы этих бесед.

Кавалеров от дам можно отличить по росту и ширине плеч. А ещё более по костюмам. Конечно же, кое-кто из них оделся на бал в лёгонькую парчу и шёлк – эти кринолины, рубашки, рейтузы давно уже сгнили, оставив от своих пышных форм лишь лохмотья. Но вот шали, сюртуки и меховые накидки вполне ещё различимы на бесплотных телах своих великосветских хозяев; почти все дамы затянуты в железистые корсеты с крепкой шнуровкой, а на кавалерах кожаные пояса с золочёными пряжками.

Но главное, обувь. Мимо меня то и дело снуют сапоги и сапожки, туфли и туфельки – и все таких невообразимых фасонов, что я бы расхохотался, да боюсь оскорбить блистательную тайну тихого дома. Вот две пары офицерских ботфуртов схватились за ножны – как видно, из-за миленькой дамы – и это действительно выглядит очень смешно, потому что куда они будут кинжалы кинжалить? – там ведь сплошное бессмертие. Вот вычурные туфли губернского бюрократа прижались к широченным сапожищам приземистого куп-

ца, и что-то нашёптывают ему – словно бы прося милостивую мзду за свои прехитренные услуги. А тут в уголке, за колонной, сомкнулись в трусливых объятиях голубые туфельки мамзели с фасонистыми сапожками мелкого клерка.

Всё это было очень занимательно; и я ходил по залу, заглядывая во все тёмные ниши, будуары, альковы – поглощая в себя ту эпоху, которая была мне известна лишь из толстых мемуаристых фолиантов, в коих всегда вымысла больше чем правды.

Что такое правда истории? – это есть стержень, каркас – а ещё краше сказать, крепчайший ствол великих событий планетарного масштаба, на котором виснут суки, ветви и листья мириадов человеческих судеб. И если судьба уцепилась за крупный сук, то её почкование, зрелость, гниение будут заметно весомее в жизни планетного дерева, чем лёгкий пшик маленького листика, бесследно облетающего под ноги осеннему ненастью.

Я даже не догадывался, кто пришёл сегодня на бал. По лоскутьям платьев можно было определить только пол, но не значимость того иль иного скелета. Мундиры парчовки сюртуки кринолины когда-то представляли собой авторитетную знать, элиту отечества: но сейчас предо мной танцевали лишь бледные кости – без роду и племени, и без судьбы. Маленькие собачки, облянявшие на руках, и те по хвостам были обыкновенными дворняжками.

Всё в этом зале дышало ушедшей эпохой, и тем бытиём

из дворянских преданий, о котором я читал только в исторических книгах. Шуршали на барышнях-скелетках остатки парчовых юбок, скрежетали пряжки о пряжки на костюмах и обуви кавалеров-скелетов; и даже казалось, что запах первобытного парфюма и ваксы ещё не выветрился из запертого подземелья. Оркестранты в углу скалились широкими музыкальными улыбками, а по залу плыли словно бы уходящие в даль звуки – и всё это благородное собрание вальсировало друг с дружкой на корабле вечности в присутствии лишь одного свидетеля.

А ведь и меня когда-нибудь ждёт та же участь – подумалось мне. Душа моя отправится к богу, к своим на мытарства – зато тело истлеет, и безо всякой сердечной мороки продолжит радоваться жизни в каких-либо лохмотьях из нынешнего века.

Случайно взглянув в отраженье чужого пенсне, я увидел свой череп с костями – но не ужаснулся отнюдь; я просто слишком поторопился прийти сюда вослед за пустым любопытством – а всему своё время. На мой тихенький свист отозвались сначала щенята, потом и их чёрная мамка; мы смешной кавалькадой, виляя хвостами, потопали к выходу – туда, где нас ждёт одинокая, и поэтому мудрая ночь. В которой совсем нет её личных страхов – а только лишь мои, неведомые жизни и смерти придуманные.

ШМОРИК

Он похож на молдавана, на гуцула из Прикарпатья. Его чёрные усы свисают под носом лошадиной подковой как у запорожского казака – дай саблю в правую руку и пистолет в левую, так он, кажется, поскачет на соседском хромоногом конике в любую, даже самую кровавую сечу. Да только вот храбрости не хватает, трусоват от рождения. По усам его можно было бы приравнять к городовому – мундир ему, португую и хромовые сапоги, блестящие от ваксы. Да уж больно суетлив и пронырен – ну ни капельки нет в нём степенства. Такие усищи здорово подойдут бургомистру какой-нибудь маленькой европейской страны, который сидит на своём кабинетном кресле, свесив на коленки крепенькое брюшко и попивая бургерский эль – а этот даже лёгкого животика себе не отрастил, прямо как мальчишка.

Его зовут Жориком. В церкви крестили Георгием-Юрием, в гражданстве нарекли просто Юркой, но почти никто из соседей его так не звал. Только Жорик: это имя как будто производное от жучка и червячка, которые половину своих нарицательных характеров отдали Жорикю.

Он именно жучок; не жук, не жучара. Он хитёр и пройдошист, но без зла, без убытка для людей. Жуки и жучары хва-

тают да хапают, рвут поживу на части, хоть будь это какая-то матерьяльная вещь, или даже живой человек. А Жорик почти некорыстен: ему хватало наощупь горсти самой невзрачной мелочи, которую можно пропить, прогулять, прощёлкать на вечеринке до завтрашнего утра.

Он именно червячок – а не червь, не червище. Его пронырливый характер позволяет ему выползать из самых незавидных ситуаций: если например, рядом намечалась серьёзная свара, и даже драка – то червячок или тихо, незаметно, уползал от неё, или юрко шнырял между обеими враждебными компаниями, тепло уговаривая помириться и при этом весело виляя хвостиком.

Сегодня с утра у Жорика случилось одно важное дело. Оно ему даже приснилось нынче ночью с отменным результатом – и он проснулся весёлый, довольный, как будто бы уже всё свершено.

– Ну, раз во сне удалось, то значит и наяву проверну.

Слегка побрызгав без мыла на лицо, а потом черканув пяток раз зубной щёткой туда-сюда, Жорик сделал вид в зеркале, что так и должно быть, что добрый молодец умылся. Он напряг бицепсы, улыбнулся себе, и радостно влез вялым торсом в грязноватую футболку.

Стирать тут было некому; иногда приходили к нему местные девчата, изредка бабы – но самые достойные из них быстренько пропадали, не дождавшись предложения руки,

а особенно сердца; недостойные же хозяйничать здесь не желали – стирать, убирать да готовить – а больше интересовались рюмочкой водки и последующей развлекухой.

Бабы ведь они как? – да как и мужики – одним приспело выходить замуж, так что терпение вываливается из души вместе с мягким ломтем влюблённого сердца, а другие пока ещё слабо нагулялись и ждут новых потрясающих вечеринок.

– Бабы дуры, – всегда говорит Жорик своим друзьям, когда выпроваживает из своей жизни очередную пассию. Но это его язык болтает в горячке, потому как его хозяин сам ещё бестолков, словно сорняковый лопух среди семейного лона любви. Серьёзные девчата ему досаждают своими мечтами о детях, о доме – а ветреные девки тревожат его своей манкой распушенностью, и нету им веры.

– Эх, не на ком жениться, – то ли ёрничая, то ль всерьёз вздохнёт он иногда, трепля по загривку златокудную пышнозадую девчонку; а на самом-то деле зрелых порядочных барышень он боится как огня – его ужасает мысль, что придётся отвечать ещё за кого-нибудь, кроме себя.

Тётка Вера, его наперсница и наставница, частенько по-нукает: – Да ты ведь ни разу не пробовал, дурень – женись, и тогда станешь настоящим мужиком, а пока ты лишь маленький кобелёк.

Но Жорик ей всегда отвечает одно и то же: – Ну зачем в моей хате нужен лишний рот? Тем более, что в деревне нет

хорошей работы.

– Ничего страшного, в город поедешь на заработки.

– Ага: а пока я буду кататься туда-сюда, она без меня загуляет.

– Так ты держи её крепче, за три узды.

А Жорик только причмокнет губами: – Нет, тётка, это не дело, – и мечтательно крякнет, как селезень в небо: – Вот был бы я олигархом...

Стать олигархом – или хоть бизнесменом средней руки – это сладкая фантазия всех деревенских дружков. Им почему-то кажется, будто к фермеру Ветлюгину, у которого пятьдесят гектаров окрестной земли, денежки сами плывут на солнечных ладьях, посланных с небес прямо от бога – и за семейный достаток местные прозвали его Хитрюгиным. Но никто не считает, сколько своих нервов он оставил в кабинетах у губернских чиновников, когда подписывал фермерские бумажки, и сколько крови из него выпили наёмные работнички, прямо с поля воровавшие урожай. Ведь деревня не город, тем более не столица: тут действительно нужно трудиться, а не молотить языком, сидя в уютненьком кресле – и этот крепенький дядька, злой да настырный, давно уже сам впрягался в лошадку, трактор и старый комбайн.

По сравнению с артельным трудом, с работами да заботами хозяйственных селян, дельце, которое затеялся проверить Жорик, казалось пустяшным. Ему всего лишь нужно было сбыть здоровый кусок протухшего сала за банку само-

гона. Он со своими дружками отнял его у бродячей собаки – та же, как видно, подобрала свой куш на помойке – а туда это вонючее добро выбросил какой-нибудь незначительный сосед.

И товарищи сразу загорелись: – Вот бы поменять это сало на магарыч! – А кому такое дело можно доверить? – Да лучше Георгия никто тут не справится.

Когда Жорика называли крупно, крепко, по-мужски – он готов был горы свернуть ради славы. И пусть та слава невзрачная, в серых одежках из дешёвой холстины, пусть даже уродлива лицом по сравнению с плакатными героями – но она ему нравилась. Приятны были восхваления какой он пройдошистый, как умеет выбираться из самых безвыходных ситуаций – а главное, что именно с ним любой из дружков пошёл бы в разведку. Но не на подвиг, а за какой-либо очередной авантюрой.

Держа своё сало в пакете подмышкой, Жорик вприпрыжку шёл по деревенской улочке, направо да налево здороваясь со степенными стариками, сидящими кто на завалинках, кто на лавках. Когда-то они тоже бегали как заведённые, и глядя на Жорика, небось, вспоминали себя – без осуждения, а благоговейно к собственной молодости.

– Доброе утро, дядька Матвей!

– доброе... доброе, – тихонько прошамкал совсем уже старый, мерзлявый дедушка, одевший под ясное, горячее солнце, ватную телогрейку и зимние валенцы. Он, наверно,

и не узнал сего путника, и себя не узнал что он тот Матвей – да рад был любому прохожему и всякому предступившему дню.

– Доброго здоровья, тётка Татьяна!

– Да какое уж тут здоровье, сынок – опять этот хондроз замучил, так что шею не повернуть. – Ей, видно, хотелось поговорить сначала о своей шее, потом свернуть разговор на хозяйство, а там и добратся до внуков, которыми любая бабушка может хвалиться часами с лёгким перерывом на сон.

Но быстроходный Жорик, двигавший ногами скорее старушкиного языка, уже приветствовал следуюшую скамейку:

– Здравствуй, тётка Маруся!

– Ооо, Жора, ты когда мне сарайку починишь? обещал ведь.

А он действительно ей клялся-божился, что окажет любую посильную помощь. Он даже готов был совершить подвиг ради неё и этого сарая: правда, в тот день Жорик очень здорово набрался в гостях, и тогда мог решиться на всё ради человечества – а сейчас просто убежал, второпях отмахиваясь рукой. Он повстречал ещё несколько немощных дядюшек, и вдвое больше тётушек, которые в отличие не злоупотребляли мужскими излишествами и поэтому реже умирали.

Нюхательный компас привёл его к красивому домику за прудом, среди белых берёз. У зелёной калитки словно бы выросла в землю крепкая дубовая двуногая скамья. Густая трава вокруг неё была выкошена, и только возле ножек, куда

не достала коса, казалось что прямо из дерева выросли разнопёрые волосья. Со скамьи пруд походил на огромное корыто, в котором полоскались белые гуси, тёмные утки и серебристые караси. Такую идиллию природы хорошо бы сначала на холст, под радужную палитру – а потом крестным ходом творческой интеллигенции, всю в осаннах и аллилуях, пронести сквозь великую мощу народа до главного державного музея, чтобы все восхищались красою родной земли.

В этом домике, из окошек которого открывается сказочный вид, живёт тётка Вера, наперсница и наставница. По двору бегают куры да утки, добрый пёс без цепочки беззлобно гоняет их лаем, а на крыше ржавый железный петух склёвывает синюю облупившуюся краску. И пчёлы; пчёлы вместе с бабочками и стрекозами шныряют от цветка к цветку – их тихий гудёж напоминает готовящийся к концерту струнный оркестр, в котором большой шмель-запевала намерен жужжать до самого вечера, пока солнышко не уйдёт за кулисы.

Верочка давно жила здесь одна, потому что муж её помер, а дети, пережившись, съехали в большой город. Но она не особенно тосковала от своего одиночества: к ней многие мужики и девчата бегали за самогонкой, так что всегда было с кем побеседовать за чашечкой чая и пряниками. Сама она водку не пила, и не любила чтоб её пили при ней – даже готовые бутылки ею подавались не голыми в стекляшке, а плотно завёрнутыми в старые желтоватые колхозные газе-

ты, толстой грудой лежавшие на чердаке. Зато свой медный самовар Верочка обожала, и начищала его до такого блеска, пока в отражении не появится родинка на носу.

Жорик негромко постучал пальцами по дверному косяку: – Тётка Вера, это я, – даже без восклицательного знака, потому что при дружках он был шустёр и нагловат, а в одиночку всё-таки не по славе застенчив.

Никто ему не отозвался; кобель и тот промолчал как очень добрый знакомый, лизя мокрым языком давно высохшую косточку.

– Тётка Вера, ты спишь? – слегка погромчел Жорик, неуютно перекидывая с подмышки в подмышку угловатый кусок сала, который мешал лёгкости движений и предстоящего разговора. Можно было бы взять его в руки, но тогда он сразу, как бельмо, попадётся Верочке на глаза, и она про него обязательно спросит. Она может даже подумать, будто это подарок ей в свёртке, и возникнет неловкость меж ними – ведь Жорик хотел не дарить, а продать.

– Ктой-то там?

Из сарая сначала показалось ведёрко-подойник, а следом за ним полноватая пожилая дама. Именно дама, потому что для деревни она выглядела излишне вальяжно, как белая высокомерная гусыня среди согбенных к земле кур. Её густые седые волосы взвились к небу пышной причёской, и казалось, что по мраморному залу не глядя под ноги движется к трону герцогиня с буклями – в блестящих резиновых бо-

тах.

– Ооо, Юрочка пришёл!

Она, наверное, единственная в деревне зовёт его Юркой, как при крещении, потому как сама и была на крестинах кумой. Тогда тётка Вера, молодая да легковесная разведёнка, опозорилась при всех людях, при церковке – от неумеренного праздничного питья крепчайшего первача нарыгала прямо в купель; а когда её попытались вывести добром, на свежий воздух не пропитанный запахом ладана – то и буянила, и дралась. Может быть, после этого срама она бросила пить: но самогонку всё ж гонит, теперь сладко любя денежки.

– Ты что ж это, родненький, опять вчера зажигал у Валерки?

– Откуда ты знаешь? – Жорик сконфузился, словно в маленькой деревне жили люди-инвалиды без языков и ушей.

– Так ведь Нинка ко мне за баклажкой прибежала. Целых два литра взяла – значит, большая компания, и без тебя им никак не обойтись. Ты ведь у нас всехняя душа.

Всехняя; казалось бы, такая безмерная душа должна вести людей за собой, озаряя путь светочем сердца и подстёгивая слабых рвением терпеливого упорства. Жорик ведь знал своих товарищей с малолетства, и всегда они кучковались вокруг его улыбчивого обаяния, доброй щедрости и необидного юмора. Но почему-то, повзрослев, он в этой компании стал ведомым: его теперь всё чаще подначивали на слабё – а слабо, мол, Жорику – и даже Георгием называли, только

чтоб подстегнуть к какой-нибудь шалости.

Вот и сейчас он слегка зарделся от компанейской славы:

– А куда я денусь? Они ведь без меня разбегутся в разные стороны.

– Да разве обязательно сутками пить? Вон лучше бы старикам огороды пропололи.

Жорик посмотрел на подпаливающее землю солнце, на длинный и широкий Верочкин огород; и ясно узрев лень в своём коренастеньком теле, тут же отбрехался: – Пусть им дети их помогают, которые разъехались по городам. А то кто-то будет получать удовольствие, а другие работать за них.

– Много ты наработал, – хмыкнула тётка, трепанув по загривку ластящегося пса; и села в тенёк на завалинку, рядом поставив пустое ведёрко. Оно грякнуло об землю, вызвенив под днищем то ль камешек, то ли зачерствевший собачий котях. – Вот так и ты пороже звенишь на деревне.

Жорик немного обиделся: всё же он считал себя нужным человеком, и если даже не аховским работягой – ах! – то и не трутнем – ой!

– Да не будь меня, деревня бы во тьме сидела, при керосинках. Я тут лучший электрик.

– Это потому что других нет.

Верочка не хотела уступать, словно бы мстя ему за небрежение просьбами, призывами и мольбами одиноких стариков. Жорик ведь всё делал только по колхозной разнарядке, или за большой магарыч – а тех, от кого взять было нече-

го, он мурыжил неделями, пока вдруг случайно не проснётся трезвая совесть.

– Не любишь ты меня. – Его согбенная фигура как будто потерялась на завалинке, превратившись в чёрную тень усталого тролля, сбежавшего от заклятого котла.

Ей стало стыдно: ну чего она в самом деле нападает на этого молодого мужичка, который и так скушно да неприкаянно живёт на земле? он ведь не изверг, не душегуб, а просто потерял себя в семейном одиночестве и пока что найти не может. Эх, сиротинка.

– Дурачок. Жалею – значит люблю.

– А я тебе кусочек сала принёс, – тут же отозвался он, не подумав спросить за него что-нибудь, и даже не пожалел об этом; она матерински прилегла на его плечо, сопела, шуршала лацканом старого костюма, словно подтирая им жгучие слёзы.

– Чего ты, тётка Вера? – Жорику и самому стало как-то сердечно хорошо, дробко, как будто сейчас его тело разрывалось на кусочки ласки да нежности, чтобы разлететься по деревне и отдать всем другим, кому нужно.

Верочка вздохнула, трепетно очухиваясь на его груди – ещё сильная баба, но уже слабая женщина. – Плохо мне, милый, без детей и внучат. Они вот разъехались, а мне словно и жить теперь не для кого. Хоть бы ты женился да детишек завёл. – И тут же взглянула во смуглое лицо, в тёмные увёртливые глаза: – Ась, Юрочка?

– Я уже сам об этом всерьёз думаю. Если бы нашлась для меня девка непьющая, ненаглая, симпатичная и послушная, то я б свои гулянки бросил. – Жорик начал рассказывать ту свою правду, которую то ли по пьянке выдумал, то ль по трезвому нарешил. – Знаешь, тётка, у мужика должна быть семья. И хозяйство. Это как лесенка в небо: вроде бы кажется тяжело и обузно, а почему-то с таким грузом легче поднимаешься к богу и к людям, прямо богатырём себя чувствуя.

– А если не совсем уже девка; если хорошая баба, и даже с ребёночком?

Тётка Вера чего-то заюлила хвостом, завертела плавниками, заволновалась как рыба, подплывшая к большому червяку. То ли он сам висит на крючке – брешет, подманивает – то ль и вправду свободен, и его можно съест. Видать, что она уже говорила за него с какой-то разведённой бабёнкой; кто ж это, а?

– Ты помнишь бабки Настину внучку, Еленку? Ту, что с маленьким сыном к ней приезжает весной да осенью?

У тётки загорелись глаза. Ей вдруг всерьёз поблазилось переженить этих двух молодых отроков – ветреного недотёпу с грустноватой неженкой. Хотя она понимала, что Жорик у как шморику нужна сильная бабья рука с беспощадным сердцем, чтобы держать его в рамках деревенских приличий – а Ленка слишком ласковая, будто месячная тёлочка, и блудливый лицемерный мужик легко обведёт её вокруг

своего пальца.

Ну, а если?.. ведь осталась же в Жорике совесть, не могла она напрочь излиться вместе с переваренной самогонкой.

– Ооой, да ну, тётка Вера. Я с ней встречался в компаниях – она какая-то небойкая, скромная.

Верочка от обиды возмутилась: – А тебе нужно, чтобы она, задрав юбку, танцевала на столе?! Мне рассказывали, чем вы занимаетесь на своих вечорках, охламоны! Может, из таких девок ты хочешь жену найти?

Обидно тётке стало не из-за этой Ленки – жена из неё и вправду не ахти, слабенькая; а просто явное пренебрежение Жорика сватуемой ему девкой казалось тётке небрежением ею самой – как будто ходил он сюда, улыбался да угощался, а сам держал каменюку за пазухой.

– Чего ты сердишься?

Жорик не ожидал от тётки такой нападки; ведь всегда меж ними были ровные отношения, деревенские сплетни да прибаутки, и даже частенько она прижимала его чёрную голову к своим большим сиськам, словно лаская родного сына. А он иногда заявлял ей на это: – ах, тётка Верка, будь ты чуточку помоложе, я бы тебя тогда... – Она, конечно, сразу нарочито вылупляла глаза, потом они вместе расхохатывались друг над другом; но тёрпкая сладость недоговорённостей оставляла свой вязкий привкус после каждой такой беседы – и Жорик будто всё прочнее привязывался, присипал к этому дому и к его фривольной хозяйке. Он в самом деле жалел, что она

так стара – вот уж в кого ему можно б навеки влюбиться.

– Сержусь, потому что болею за тебя как за сына.

Верочка вместо – люблю – сказала – болею; и тут же опустила голову, вроде бы к лежащему у ног псу. Она и так уже слишком прирадалась к этому молодому охламону – него же его каждый раз поверять своей материнской любовью, а то обнаглеет. Ей очень не хотелось, чтобы он когда-нибудь женился на чужую сторону, и поэтому она предлагала ему своих знакомых девчат – чтоб если жили, то рядом, а хоть даже и в её доме.

– Если в самом деле болеешь, литрочку дай, а?

– Ох, Юрик – как хитро вы, мужики, пользуетесь нашей бабьей мягкотелостью. – Тётка вздохнула.

Он радостно засмеялся, сразу поняв что отказа не будет. – А я тебе салыца принёс, – и развернул на виду свой свёрток.

– Да оставь его себе. Мне тут всего хватает, а у тебя в хате, небось, шаром покати. Мыши-то хоть живут ещё, не подошли от голода?

– Оооо! да у меня и ласточки под стрехой, и ещё кобелёк какой-то прибился.

– Ну вот, – теперь уже Верочка весело хмыкнула. – Начинаешь хозяйством обзаводиться – значит, скоро и о семье возмечтаешь.

Они поглядели друг на друга с родственной нежностью: тётке с ним было светло как у самоварного краника, когда блестящий пузан отражает в своём серебре её подбелевшую

шевелюру и уточкой нос; а Жорик у неё тепло да уютно как на могилке у матери, когда он засыпает там в зелёных цветах поддатый да слёзный.

– Сейчас принесу.

Верочка нетрудно встала с завалинки, ещё имея в теле зрелую силу, и потрепав молодца по загривку словно доброго пса, ушла в дом.

Её не было минут десять, а то и пятнадцать – Жорик успел и наиграться, и наболтаться с тёткиным кобельком, имея душевную привязанность к собакам и к их языку – но зато она вынесла вместе с бутылкой миску солёных огурцов, отварную картошку да зелёный лучок.

– Юрочка, ты уж, пожалуйста, завязывай сам с этим делом. А то я хоть и люблю тебя, но от водки спасти не смогу. Не ходи к друзьям – выпей немного, да отдохни дома.

– Обещаю, мам Вер! Честное слово! – счастливо крикнул ей Жорик уже от калитки, предполагая сначала в своём сердце, а потом в организме чудесный день.

Ну конечно, он чуточку обманул свою крёстную мамку – ну конечно же, выпил с друзьями-с подружками.

Возвращаясь с вечерки не тёмным, а светлым вечером – когда солнце ещё только садилось к закату, не взбив хорошенько себе перину и не уложив в подголовье мягкую подушку – Жорик радовался жизни и миру, благодаря их за приятный день, за добрых людей и общение с весёлыми друзьями. У него всегда бывало такое настроение, если всё

на душе в меру, если организмом не выпито лишнего, а какая-нибудь нескладуха или даже драка между товарищами подавлена в самом зародыше метким да острым словцом. И это словцо сегодня его: он просто приложил указательные пальцы ко лбу и замычал драчунам: – А ну-ка, быки колхозные, запыряйте друг дружку рогами! – и все весело расхохотались, даже те самые два драчуна. Потом он смешливо рассказал скабрёзный анекдот о том, как деревенский кузнец кодировал одного алкаша от запоев – и хоть эта история была довольно стара, но к тому времени мужики и девчата уже в меру подвыпили, и смеялись не шутке, а радостям дружбы.

Он шёл неспешно, смахивая сорванной веткой белые головы одуванчиков. Нагнувшись, вырвал один толстенький стебель, и слегка раздвоив его концы, попробовал пискнуть как в детстве. Но ничего не вышло: то ли одуванчики нынче иные, безголосые – а скорее всего, что руки у него огрубели да голос осип.

Жорик мысленно сейчас разговаривал сам с собой – вернее, с девчатами – о великой силе мужского единства. Он снова представлял рядом свою сердечную компанию, и тут же легко находил слова и доводы, с которыми растерялся в беседе. Может быть, он думал немножко иначе: но самая суть его мыслей была неизменна.

– Девчата и бабы – вы спрашиваете, почему мы, мужики, выпиваем? – я отвечу от себя; а другие мужчины, мужички и мужчинки пусть лепят свою правду-матку.

Знаете, девчата – водка каким-то наркотическим образом предполагает в себе неукротимую дружбу. Дурость, конечно, по-трезвому: но когда я встречаюсь с совершенно чужими людьми – сам наподдаче, и они уже навеселе – то мы все становимся чудесным волшебством братственны друг дружке, как будто выползли из одной бабьей утробы, и её материнское ой-ой-ой при тягостных родах наделило нас одним русским языком, безо всяких импортных примесей и закавык, в которых сам чёрт ногу сломит.

Знаете, бабы – водка каким-то любвеобильным образом мирит нас с вами. Если мы – вот с тобой, например – в ссоре, даже в дебоше, и разругались навдырг, а настроение моё становится от этого тяжким, как будто мне чёрное небо на слабые плечи упало – то выпивая сначала мелкую стопочку, я уже предполагаю что мы завтра помиримся, хлопая следом вторую, убеждаюсь что послезавтра ты сладко от меня забеременеешь, а через неделю после третьей у нас родится голопузая тройня, и я, счастливый, буду возить их в большой разноцветной коляске.

Вот только, добрые девки, я не знаю, что такое любовь. Вы слишком добры ко мне, и поэтому сразу позволяете все ласки да нежности, которые меж нами возможны, и я очень быстро насыщаюсь такой скорой любовью, почти не понимая её сердечного значения и для чего она моей душе предназначена; а вот если бы я побегал годик, иль даже два, по едва видимым следам чьих-нибудь милых каблучков, впиты-

вая жадным носом может быть уже неразличимый аромат обожаемого тела и его ромашковых духов – тогда я узнал бы любовь, и всегда различал её трепетный посмех в весёлой женской разноголосице. —

Тут мыслей немного – всего на пять минут разговора, но потому как Жорик думал сумбурно, перескакивая с одного на другое, а потом снова возвращаясь к началу, то ему их хватило на целую дорогу.

Он подошёл к своему дому уже втемнах. Хлипенький на свету, дом сейчас казался большим да мрачным, как будто самые тайные, опасные его углы и стены, укрылись в густой высокой сорняковой поросли. Но ни ушастые лопухи, ни колкий репей со жгучей крапивой Жорика не пугали – он давно ходил под эти кусты как в сортир, после того как развалился его ветхий деревянный сральник. Иногда, под ветер, во дворе припахивало свежим гавнецом: оно смешивалось с ароматом свиного, коровьего и лошадиного навоза – а лучшей амброзии для деревенских носов нельзя и придумать.

Из репейника радостно выскочил приبلудный пёс, лядящий как многожды обгрызанная мосолыжка; он тьякнул пару раз – но может быть понимая, что уже спят все, тут же затих, и ткнувшись носом в Жорикову штанину, сопровождал его до порога, сам как приставучий репей. А не получив косточки, спокойно, не ропща, улёгся перед закрытой дверью.

Жорик тоже сразу же брыкнулся на кровать, и наощупь раскурил сигаретку. Глядеть тут при свете особо и нечего:

он жил как акакий акакивич – с той только разницей, что собирал деньги на мотоцикл с коляской, а не на шинель. Это была его вечная мечта – во всяком случае, на ближайшую пятилетку. Ловким щелчком отбросив к окну притушенный окурок, Жорик стал мечтать как замуздает в магазине свою красную мотоциклетку, вскочит будто кочет на кожаное седло – и примчится в деревню, кукарекая под каждым плетнём о своей счастливой покупке. Ему всё время казалось, будто удача исподтишка караулит его – вотвот – и если он ещё немножечко перетерпит случайных невзгод, то в награду достанется долгожданный выигрыш судьбы. Может, пойдёт дальний незнаемый родственник из заграницы, а Жорик останется у него единственным другом, наследником – или в самом деле под стареньким домом закопан золотенький клад, как верующе шептала когда-то матушка, и он очень скоро всплывёт на поверхность. В мечтах, по темноте, Жорик мнилось, что можно собрать по углам всё ветхое барахлишко – полувековую радиолу на лампах, старинный уютюжок на угольях и деревянный сундук с бронзовыми вензелями – да сдать его в комиссионку как антиквариат. Ведь находятся же дурачки на такое неприличное рваньё. Но утром, пробуждаясь от снов да надежд, он оглядывал свои вещи, и ему становилось скушно куда-то ехать, договариваться, работать – а лучше выпить бутылочку и мечтать.

Жорик уже пьяненько приснул. В окно заглянула луна своим глазом, похожим на куриный желток; на гнезде под

притолокой тихо пискнули птенчики, зовя свою блудную ласточку. Едва тлеющий бычок, подвисший за бахрому, раздымился на старой скатерти. Бахромка была уже засаленная, ворсистая, и поэтому занялась сразу маленьким огоньком – как тонкая лучина, отшкарябанная от щепки под растопку. Свет от неё поначалу тускнел, и даже казалось, без поддержки он быстро уймётся; но потом от бахромки запалились соседние нитки, скатерти уголок, и разошедшаяся ножка дешёвой фанерной столешницы.

Это уже настоящий костерок, тёплый, согревающий холодную и грустную душу. Пылающий огонь похож на крылатую жар-птицу, которая размахав своих разноцветных перьев возносит подмёрзшее сердце к солнцу неуёмных желаний – возвращая надежду и веру в сбыточность внове придуманной судьбы, доброй, благословенной. Белый дым с искрами от головёшек поднимается к небу, танцует в воздухе, облекая собой бесплотные фигуры каких-то существ, привидений, а может быть даже херувимов или демонов – так что кажется, весь божий мир сгрудился вокруг этого славного костерка.

Огонь перекинулся на скатку матраса с ватной трухой, на гобеленовый коврик, прикрывший собой рваную щель в штукатурке; загорелись газеты с журналами, для сонного интереса лежащие рядом с кроватью. Ничего пока не понимая, да и не зная ещё огня в своей коротенькой жизни, тоненько запищали ласточкины птенцы в гнезде под стрехой,

которым здесь уютно и спокойно жилось. На улице растерянно забрежал приبلудный кобелёк, чутким носом поймав грозный запах неукротимой распалившейся гари.

Жорику приснилась мать.

Но не просто как большое улыбчивое или строгое лицо в голубых небесах – а сама маленькая, хоть и во весь рост, да ещё немножко уморенная от трудной работы.

Будто сажают они картошку. Вдвоём. А огород-то здоровый. И вот как посмотрит мать от лопаты вперёд, сколько они прошли, то кажется ей что день только начался – а ноги уже усталые, да и руки зудят от натуги земли.

Жорик, бросая картоху на ямку, видит материнские поглядки и всё понимает: ему жалко этой мамкиной тяготы, но он помочь ей не в силах, потому что мал для лопатки. К тому же у него самого болит попчик. Ведь клубни из экономии резаны, их нужно бросать глазёнками-гнездами кверху – и приходится низко склоняться к земле, чтобы они как надо легли.

Солнце уже припекает макушку; мать то и дело облизывает пересохшие губы, ей хочется пить, отдохнуть, но она не делает перерыва, потому что если один разок сядешь на землю, то потом с неё ох как трудно вставать. Вот ссадим хотя бы половинку огорода, тогда и посидим во тенёчке – наверное, думает она.

Жорик тихонько поглядывает в небеса, надеясь, может

быть, что оттуда к ним спустится бог на помощь, или даже родненький батюшка, которого он никогда и не видел. Помер – всегда отвечала мать на расспросы; а соседи тайком добавляли – водкой залился.

С чужих огородов тянет лёгким дымком: там уже залучают в посадку последние межёвые клинышки да садятся обедать. Бледное марево с запахом горелой травы, ветвяка, головешек, медленно плывёт над белыми яблоневыми вишнёвыми грушовыми садами – и кажется, будто это утреннее туманное озеро над деревней, а сквозь него пробиваются пёристые крылья играющих лебедей.

Хохотун ветерок треплет смоляные Жориковы вихры. Он, наверное, по цвету принял его за цыганёнка, и теперь смешливо намекает – замуздай, мол, коняшку, и айда за мною по вольным степям непаханого разнотравья. Ему ужасно весело, потому что у него нет огорода, домашней скотинки и школьных уроков.

А у Жорика всё это есть, ему тяготно за себя и за мать, и он ждёт чтобы вырасти. Но всё равно – как будто бы понимая чутьём, что всё происходит не наяву а во сне, что у него две половинки души и для одной из них матушка воскресла, он безудержно счастлив в явом мире, которого сейчас не осознаёт, и потому без стеснения, без ложных дурацких взрослых стыдов он захлёбывается от сладостных рыданий, милосердно намоленных маленьким ангелом, ещё хранящим для мира неприютное сердце.

ломался.

– Это точно? Уверен, что больше не передумаешь? – спрашивает Санька, зная прорабскую бестолковую натуру, которая везде и всегда старается успеть да выгадать, всем пытается услужить да на том заработать – а получается пшик, взрывающийся внутри пустой круговертью надрюченных нервов.

– Точнее прогноза погоды. У них на сегодня закрыты заказы. А завтра мы первые. Понял?

– Ну смотри, не ошибись. Мне до элеватора идти с полверсты, я туда-сюда бегать не буду.

– Давай-давай.

Ну Санёк и ушёл. По зелёной стерне, по прокошенной тропинке между железной дорогой и неглубоким ручьём. По гравийным камушкам насыпи быстро и таинственно ёрзали серые ящерики, похожие на каких-то дворцовых заговорщиков со шпагами-хвостами меж кривеньких ног: казалось, будто они только что выскочили из несметного подземелья с сокровищами, где долго пересчитывали золото и брильянты своей ползучей королевской семьи. Вертя глазками на шарнирах, ящерики лупато поглядывали то вверх, на любопытных воробьёв – то вбок, на что-то замышляющего Саньку. Но он всего лишь хотел поймать одну из них за хвост, чтобы узнать, действительно ли тот отваливается без ущерба для здоровья – и нельзя ли ему самому отрасить себе на затылке третий глаз, мудрости, который, говорят, позволяет читать любые мысли сторонних людей. Саня

очень желает знать, любит ли его всерьёз та незабвенная дрочечка, или просто дразнится назло своему ревнивому мужу.

Минут через двадцать в Санькиной сумке зазвонил телефон.

– Кто говорит?

– Не надейся – не слон! Срочно возвращайся назад, потому что бетономешалка приехала – её видели охранники на проходной. Через пять минут она будет возле ангара. Бегом!

Вот бестолмашная суета – ну никогда у него по-людски не бывает; обязательно носится словно обезьяна по веткам и громким криком призывает всю свою стаю – то из одного конца леса, то почти сразу же из другога. Хорошо, что Санёк недалеко отошёл – шагов всего двадцать – а то бы и вправду пришлось бежать сломя голову. Как говорит родный дедушка – дурная кочерыжка бедным ногам покоя не даёт.

Сидит Санька на травке, и ждёт. Простить себе не может, что он слишком добр и мягок с людьми, а поэтому многие из них садятся ему на шею, вот как этот прораб. Другой бы на Санином месте встретил его вечерком, в том месте где фонари не горят, да и устроил ему тёмную-претёмную, так чтобы те фонарики в его наглых глазах разгорелись.

Правду я говорю, кузнечики? – спрашивает Саня. Неправду ты говоришь – отвечают они Саньке, пиликаая на скрипочках и дую в дуду из одуванчиковых стебельков. Почему? Потому что ты такой, как уже есть, и теперь старайся приспособиться.

сабливаться к обстоятельствам, к этой самой бетономешалке.

И тут снова зазвонил телефон.

– Я внимательно слушаю.

– Саня, родной, ты где?!

– Прибежал. Уморился. И жду.

– Санёк, дуё обратно на элеватор! Это была не наша мешалка, а субподрядчикова! Ты слышишь?

– У меня уже ноги отваливаются – с тебя магарыч.

– Бегом!

Ох, а ведь нервные клетки не восстанавливаются. Если так целый день бегать, выснув наружу язык как собака, то окружающие люди и вправду примут за пса, начав то и дело шпынять пинками под хвост. Таких как Санька ловят или на сильном, или на слабом характере. Это азбука. Слабым попросту грозятся: если он завзятый прогульщик, то мы, мол, лишим тебя отпуска – если неуёмный выпивоха, то мы твою премию отдадим жене, а самого в элтэпэ – а коли вообще он работать не хочет и ленится, то попадай под статью, под расстрел. И так вот слабые становятся служками у начальства.

Саньку же поймали на славу: он телом и духом силён, поэтому вечно слышал от своего руководства – Санечка, куда же мы без тебя? Да вся бригада на лоскутки распадётся! Помоги, подсоби, спаси-сохрани... – И он чувствовал себя почти богом – атлантом, коему подвластны любые свершения, хоть в коллективе, или одному. А потом так подсел

на все эти комплименты – как баба – что его добросердие к людям превратилось в безволие, в шнырь.

Стоит Санька у ручья, встревоженно размышляя о будущем. Вон даже белая бабочка на нос садится, не боясь, что он её грозной дланью прихлопнет. Таких в детстве называли капустницами: они летали по огородам меж зелёными кочанами, а бабушка всегда говорила, будто их прародители гусеницы питаются капустными листьями, пожирая весь будущий урожай. И всё равно: хоть она и появилась из противнейшей гусенки, но сама казалась прекрасной, потому как у неё были крылья – а он тогда летать не умел, и завидовал.

Сейчас Санька уже не завидует, незачем – он научился парить душой, погружаясь в игристые фантазмы своего воображения. Ему стоит только взглянуть на картинку, на фото – и вот он уже вместе с гривастым львом гонится за антилопой по жёлтой саванне – Санька висит у того на кончике хвоста, тёмной кисточкой, и хлестается собой из стороны в сторону, погоня – давай, кривоногий, беги! – Или глядя на плавающих уток в пруду, представляет – а как там пингвины на полюсе? в чёрных костюмах и белых сорочках трутся о земную ось, натирая её своими телами как эбонитовую палочку, и возникающее в ней электрическое напряжение раскручивает человека каждый день то под солнце, то под ночь; но вот какой казус – людям надо обязательно сохранять поголовье этих важных птичек, потому что став их больше, то они завертят Землю как юлу и всё здесь зажарится, а будь

меньше, то они её с места не сдвинут, и вся природа замёрзнет.

И тут зазвонил телефон.

– Санёк, родной, где ты?!

– На полюсе.

– Где?!!

– Да шучу я, смеюсь. Вот уже подхожу к элеватору.

В трубке раздался тяжёлый, извинительный вздох: – Ох... – И молчок; ждёт, что Саня сам спросит.

– Чего ты вздыхаешь?

– Да тут такое дело... В общем, субподрядчику нужно было всего два куба бетона, и всё что осталось в мешалке, я выпросил нам. Санёчек, родной, возвращайся к ангару. Забетонируй, а?

– Какой же ты всё-таки бестолковый – прямо как пингвин.

– Побыстрее!

– Бегу; бегу. – Хорошо, что Санька отошёл всего на двадцать шагов, а то бы пришлось носиться как взмыленной лошади, жокею которой на ипподроме пообещали корчажку с деньгами за первое место.

А ведь это несправедливо. На лошадку делают огромные ставки разные жокеи-лакеи и дельцы-подлецы: но после окончания бегах прибыль получают всякие теневые жулики, а бедной лошадке достаётся всего лишь кормушка овса, да и то не досыта. Вот бы ей, милой, сидеть на мягком троне со всеми заработанными денежками, с фруктами и овоща-

ми в стеклянных вазах – а вокруг её кресла пусть ползает около-ипподромная шушера, получая в зубы горстку овса за каждое льстивое игогооо! И над головой лошадки, над гривой густой, светлым блистающим нимбом летают стрекозы.

Каждая стрекоза уловимо похожа на инопланетного жителя: у неё такие же огромные глаза, которые лупато выделяются на худеньком теле, и хоть этот пристальный взгляд создаёт иллюзию страха, из-за непонятности – но её мохнатые ручки да ножки после первой боязливой дрожи пробивают сердечко на смех – ах, как можно ужасаться от такой ерунды, ерундишки!

А стрекозка смотрит на Саньку, и тоже, наверное, думает: зачем эти большие насекомые живут на земле, не умея летать? – они ведь так неуклюжи, у них толстые чресла, огромный живот – ах да, ими питаются знакомые гнусы и комары.

И тут затрезвонил автомобильный клаксон – мелкий гнус примчался на своём драндулете. Он вылез из него, потупя свой юркий взор – но всё же по затравленной ухмылке Саньке было ясно, что он ничуть не извиняется.

– Саня, родной мой, прости! Весь бетон наш перехватили другие! Но я обещаю, что завтра кровь из носу! Забетонируешь, а?

Санька склонился пониже, и оттуда уже заглянул в его бегающие глазки:

– Если б ты знал, как я устал; но всё равно помогу завтра;

обязательно забетонирую.

И распрямившись высоко в высокую высь, тихо скользнул на двадцать шагов к благороднейшему ручью.

ПОМИНКИ

У нас недавно одна старушка померла. Не какой-то там внезапной кончиной, так чтобы все родственники заходились от плача – ой, да на кого же ты нас покинула, бедных сиротинушек. Нет, не так быстро – а в свой срок. Ну конечно, дочка слезу пустила, зять глаза подмокрил, да и внучата у гроба чуточку хмурые стояли – всё как положено, как опытные соседки присоветовали.

Митрий, зять этой старушки, мужик богатый по нашей сельской мерке – а потому друзей у него нет, даже добрых товарищей. Может, кто бы и рад в друзья к нему записаться, да только он никого близко к сердцу не подпускает, боясь что потом душевно взнуздают и сядут на шею. В общем-то, Митрий и прав: наши мужики небогато и с ленцою живут, а поэтому просить обязательно будут, тем боле у друга. И попробуй не дай – самым низменным скрягой окажешься, за то что обидел отказом родного товарища. Так лучше пока чужого послать подальше, чем со своим потом лаяться.

Не имея друзей, Митрий обратился к соседям управиться с похоронами – с могилкой да гробом, с венками да крышкой. Можно даже сказать – наконец-то был вынужден обратиться – потому что до этого он воротил от нас свой курно-

сый нос.

– Доброе утро, Митрий. Прекрасный день, – скажешь ему.
– Здравсте. Ага. – Ответит как плюнет.

Семеро было нас, мужиков, на могилке, и он восьмой. Ну, постояли с непокрытыми головами, вздохнули над гробом, как и над нами кто-то будет вздыхать, по горсти земли бросили и закопали останки. А душу отпустили на волю, сказав ей – лети, родная, неча тебе вечно живой страдать над теперь чуждым прахом.

Бабы тоже на погосте были. Особенно старушки, куда ж от них денешься. Для старушек самое большое развлечение – это гадать, которую следующую бог к себе заберёт. И что самое интересное: они не испытывают никакого страха пред смертью, а лишь чувство, похожее на азарт игрока в казино – на моё ляжет шар, или на чужое. Они уже всё перевидели, ничего нового не ждут, а вот усталость от жизни в душе подкопилась – она бы и рада уйти в избавленье, но пусть сначала подружка.

После захорон к нам подошла жена Митрия, дочка покойницы, дородная симпатичная барыня. Синее траурное платье сидело на ней как на ладони перчатка. Я даже грешным делом подумал – кто их туда втискивает так объёмно, рельефно и соблазнительно – вот бы на ком изучать географию, все её крутые холмы, зовущие бездны, живительные родники и изверженья огнедышащей лавы.

Ох, прости меня, старушка. Но именно на похоронах яс-

нее всего проявляется манкость жизни для нас, молодых.

– Мужчины, я прошу вас всех к нам домой, помянуть мою матушку, – жеманно пригласила мужчин дочь старушки. Само собой, что она позвала и женщин; но чтобы не мешать друг другу разнополовыми разговорами да сплетнями, мы расположились подальше от баб, в садовой беседке.

Вот это Митрий замечательно придумал, очень расчётливо. Не в обиду, женщины, вам скажу – но мы с вами должны обязательно иногда отдыхать друг от дружки. Хоть на рыбалке ли, в лесу или на охоте, а желается мужицкой душе побыть в тишине – без нервов и визга. А уж пить да веселиться сам бог нам велел без вас, потому что все наши компанейские беседы и хотения вертятся вокруг женских прелестей, родимых тёпленьких манких – и вы будете только помехой для наших сердечных и плотских откровений. В мужской компании, бывает, такое прорывается, что мы пьяные рыдаем от несбывшейся любви – и именно стакан водки, лёгкий расслабленный, становится катализатором слёз. А в другой раз так накатит, что всякую любовь забываешь от распутного рассказа какого-нибудь брехливого замухрышки. И то, что мы собрались на поминки, нашей развесёлой трепотне уже не помеха.

Митрий от желания хоть на вечер стать своим – для нас, пока чуждых – непомерно суетился, бегая туда-сюда за блюдами и напитками. Садовая тропинка от дома до деревянной беседки была похожа на канат, протянутый меж двумя

берегами, и он как паром возил на себе мясо и картошку, соленья и салаты – но главное, водочку. Мужики предвкусительно облизывались, и нарочно при приближении Митрия чмокали языком да губами, чтобы сделать приятное и ему, и конечно себе. Потому что каждое новое блюдо навевало – да чего там, наяривало в желудок опустошительный аппетит – казалось, что только сядешь к столу и сразу умнёшь всё зараз, выпьешь всё одним ливом. Но это лишь видимость: на самом-то деле желудки у людей не резиновые, и про них есть много пословиц, которые я не очень-то помню, а своими словами скажу так – глазами бы и слона съел, а в животе мышь не поместится – или, видит око да зуб неймёт.

– Митрий, ну чего ты один как взмыленный носишься? возьми моего внука в помощники, – предложил хозяину дедушка Пимен; и толкнул меня в бок. Чего это он? – думаю.

– Да нет, отец, спасибо вам. Я сам справлюсь. – Митрий так живо сказал ни-ни, будто боялся что я всё понадкусываю по дорожке, не выдержав искушения.

Дедуня с хитрецей попнулся к моему уху: – знаешь, почему он один бегает? чтобы никто не увидел, как он внутри живёт. Вон, даже баб дальше летней кухни не пустили.

Может быть, и вправду дед что-то такое заметил, может привиделось от старости – но во всяком случае, стол был нежадный. Наравне с простыми огородными кушаньями, свойской свининой, курятиной, хозяин выставил и дорогие столичные блюда – балык, сервелат, ветчину – и конечно,

неизменную красную икорку, причём не намазанную на бутерброды, а сыпом вместе с ложкой в хрустальном вазоне. Ешьте, мол, гости дорогие – я не скаред, и напрасно вы обо мне думали.

– Димитрий, а что это за грибы? – спросил диакон, бооольшой знаток, когда увидел на столе широкую миску, до краёв заполненную тягучей взвесью маринада с лавровым листом, чесноком и перцем.

– Извините, мужики, – смутился хлебосольный хозяин, стыдясь показаться нехлебосольным. – Я сначала думал эти солёные грибочки на базаре купить, у старух – там и маслята, и грузди – но всё-таки не решился; не дай бог что случится, так я потом позора не оберусь. Пришлось брать грибы в магазине.

– А зря, – заметил худой да высокий как жердь, которого все звали Фёдором. У него передёрнулся кадык, сглотнувший слюну от смачных воспоминаний. – Я однажды купил банку чёрных груздей у одной задрипанной бабки, потому что очень вкусно они за стекляшкой смотрелись; но поначалу опасался – слепая, отравит. Зато когда раскушал, мужики, да под бутылочку водки, то чуть было в пляс не пустился – так хорошо стало на сердце.

– Хотите, я вам сейчас своих принесу? – привскочил чернявый мужичок, который по причине своего мелкого роста нёс венок вместе с бабами. Ему, наверное, теперь стало неудобно перед товарищами, вот он и выхватился из-за сто-

ла в эйфории всеобщего братства.

– Да сиди уже, – одёрнул его дедушка Пимен, потрянув за фалду костюма. – Тут и так полный стол, хоть бы половинку из этого съесть.

– А и вправду, – опомнился мужичок, хитро смекнув, что пока он будет туда-сюда бегать, остальные станут вкусно пить да веселиться. – Я потом занесу.

– Хорошо сидим, мужики, – гласно заметил диакон, и у многих сидящих даже волосы на голове завихрились от предвкушения трапезы, от ожидания долгой интересной беседы. Если, конечно, хозяин раньше времени не погонит домой.

А вот не погонит: он так трудно жил один, зажиточный среди обыкновенных, что теперь ему очень хотелось показаться перед соседями свойским малым, рубахой-парнем. Поэтому он бегал с подносами, суетясь если не услужить, то ублажить точно – чтобы не было больше разговоров будто он зазнавшийся жадина.

Мужики это понимали, и наверное, могли бы уже начинать гульбу: но если в другом доме они сразу хватались за бутылки, не дожидаясь команды хозяина, то тут следовало погодить – тут за тамаду сидел дьякон, а вероятно что за ним подойдёт и сам поп Сила.

Я вот так пишу – тамада гульба веселье – и вы можете здесь подумать, будто мы не уважаем смерть и её остывшего покойника. Ерунда: ну что толку слезить глаза да пускать

сопли по старому человеку, коль ясно же, что пришло его покаянное время – так пусть он, висая душою под потолком, возле люстры, в последний раз покуражится вместе с нами.

– Митька хозяин, садись уже, хватит ерошиться, – пробасил диакон, фамильярно обращаясь к сыну божьему по праву своего старшинства. Тут все мужики были примерно одного возраста, кроме дедушки Пимена, но дьякон всё же весомее всех по-церковному – как если бы в пакет магазинной селёдки, серой дешёвой, вдруг попала красная дорогущая сёмга.

И Митрий тут же озвался, пробегая с последним подносом:

– Иду-иду, мужики! – а присев со всеми, счастливо отдулся: – Фууу, упарился. Да вы могли бы меня и не ждать.

– Ну как же можно без хозяина! – Нет, без хозяина нельзя! – Хозяин всему дому голова, – загомонил пышущий здоровьем стол на разные голоса. Но всё же, хоть первому налили хозяину, а всё равно ждали что скажет дьякон – каким словом старушку помянет и как крякнет вослед.

Диакон встал весь в чёрном, похожий на оперного певца; только петь он собирался не какую-нибудь развлекательную арию из Карменситы, а почти поэтическую оду во славу почившей старушки, и хоть старушка та была мелка по сравнению с этим гимном, с сонмом собравшихся вокруг её смерти, да и вообще с целым рабочим днём, посвятившимся её длинным похоронам – но всё же рядом оставалась её душа,

безмерная и бесценная.

– Братья мои. Вы, конечно, ждёте от меня длинных речей. А может быть, и наоборот – торопитесь побыстрее, потому что все сидите с уже налитыми рюмками. И я вас проповедями мучить не буду – каждому хватает нотаций от жён да матерей. Но мне хочется напомнить вам о будущем: а оно такое же точно как у этой старушки, и ни одному из вас – из нас, я хотел бы сказать – этого будущего не избежать. – Дьякон вздохнул; но светло посмотрел в деревянный потолок, а потом перевёл взгляд на оранжевый горизонт. – Вот вы думаете, где сейчас наша страждущая покойница? на небесах? – ошибаетесь – ещё девять дней её душа будет рядом с нами, где-нибудь над головами у стенки слушать, что о ней говорят. Поэтому всегда помните о том, что каждый из нас, уходя, оставляет свою метку в душах родных и близких людей. А будет ли та метка светлой или тёмной, зависит от добродетелей и грехов, которые мы нахватаем по жизни как собака репёв. Даже рай или ад для покойника менее значимы, чем память ближайших родственников, соседей, знакомых. Каждому хочется услышать о себе прекрасные слова – но не лицемерные, от желудка, который мы теперь будем услаждать за этим поминальным столом, а искренние, от чистого сердца, которое в открытую славит, но может и громко проклясть. – Диакон поднёс рюмку ко рту, и обвёл дерзким взором сидящих: – Я сказал всё это для вас, для живых – а старушке пусть земля будет пухом и небо покоем.

Всем очень понравилось. И видно было, что выступление дьякона загодя не готовилось: сказал он спонтанно, о чём в сей миг истинно думал, и оттого получилось ещё краше, чем если бы вместо него пришёл поп. Потому что у священника Силы даже из обычной беседы всегда выходила нудная проповедь с казённой моралью – его выпестовала церковная семинария, дьякона же воспитал свой сельский народ.

– Спасибо вам, братцы. – Со слезами на глазах встал Митрий, а за ним следом и все мужики. Минута была такая роковая, нервная, что если бы рядом с ними свистнула пуля, то каждый вышел против неё своей грудью – широкой иль чахлой, всё равно, но лишь бы спасти от смерти всех остальных. – Спасибо за всё – и за похороны, и за поминки, и что все отозвались на мою просьбу добром, что просто живёте рядом со мной – а я прежде не знал, какие вы все хорошие.

Тут хозяин всплакнул, потому что до этого выпил уже пару рюмочек с бабами в доме; но мужики его за слёзы не осудили, а ободряюще похлопали по плечам.

И все снова сели; в глазах теперь не было ожидания – они блестели где искрами, где настоящим огнём, ведь праздник уже наступил.

Первую минуту после выпивки мужики закусывали: слышался только стук железных ложек о большую посуду, цвырканье вилок по тарелкам, да возгласы – подай! возьми! компотику, пожалуйста. – А потом сосед шепнул Митрию на ушко, что такая маленькая рюмка не дошла до сердца и непло-

хо бы повторить.

– Ну конечно! – привскочил хозяин, радуясь, как быстро он становится для соседей своим, а всего-то и нужно было пригласить их всех в гости. И теперь он не жадный затворник, а добрый товарищ. – Наливайте, мужики, не стесняйтесь. Можете сидеть у меня хоть до утра.

– А лежать? – пошутил жердяй Фёдор, вытягивая свою длинную шею над головами и скалясь в улыбке.

– Оооо! Да ложитесь где хотите, места всем хватит.

– Жена-то не сгонит?

– Нет-нет, не волнуйтесь. Она же понимает, какой сегодня день. Будем лежать, покуривая, под звёздами, и вспоминать мою тещу. – Тут он спохватился: – Ну и конечно ваших стариков.

Толстенький Толик, самый незлобивый сосед, который никогда не отвечал на выпады недругов – потому что вот таким чебурашкой уродился – пустился по безбрежному морю воспоминаний, кое подпитывается ручьями из детства и юности каждого здесь сидящего, да и просто любого кто ещё придёт в гости:

– Я с пяти лет твою тещу помню. У неё был такой густой малинник, что можно было часами сидеть внутри незамеченным. Мать моя орёт – Толик! ты где? домой! – а я без устали рот набиваю.

– И не проносило, греховодник? – спросил с усмешкой веселящийся дьякон. – Небось, все кусты обдрилал?

Толик под общий хохот махнул на себя рукой: – Было, конечно. Зато теперь посмотрите, какой у Митрия урожай каждый год. Может, кому из вас тоже удобрения требуются? так я готов!

Хорошо, когда человек умеет посмеяться над собой, да и над другими людьми – но не зло, а потешно, чтобы в сердце проявилась не ярость от насмешки, а желание и дальше веселиться.

– Ты вот, Федя, про грибки говорил, – подал свой хрипловатый голосок дедушка Пимен, чувствуя, что если он сейчас не вступит в беседу, то потом на краюшке останется со своим говорливым языком. – Что будто в солёной банке с базара все грузди один к одному. – Он воздел палец кверху, словно указуя мужиков на внимание. – Но ты знаешь ли, что одна маленькая поганка может испохабить целую бочку прекрасных грибов? Она же мелка как гнус, и легко спрячется в огромной шляпке груздя, поджидая своего часа.

– Ты это к чему, дедушка? – подозрительно мигнул дьякон, будучи теперь распорядителем поминок. Он сразу решил пресекать все будоражащие душу разговоры, коль в них попадётся хоть намёк на скандал.

– А ни к чему, – щербато улыбнулся дед Пимен, пару раз ёрзнув тощей жопкой по жёсткой скамейке. – Вот внук мой, Ерёма, неделю назад приволок нам ведро печерицы, а среди них завалилась поганка. Так было не отравил.

Тут я поторопился с ответом, и обидел его, больно неж-

ного: – Не бреши, дедуня – я её сразу ногой притоптал.

– Брешут собаки, и ты вместе с ними. – Пимен взглянул на меня из-под бровей. – Сколько уже раз тебе баил, чтобы не влезал, когда старшие разговаривают.

– Зря ты, – заступился Степан-здоровяка, с которым мы вместе слесарили на элеваторе. – Он у тебя хороший мужик и монтажник.

Но дедушка был непреклонен: – Баб он монтирует, а не железяки. В хате уже сто лет ремонт не делался, ждёт пока всё развалится, и только на свидания бегаёт.

Ну вот, началось. Я сначала думал, что разговор о бабах заведёт кто-либо из зрелых мужиков, которому водочка ударила в голову, и между ног. Но случайно цепанул за них своим вялым стрючком мой дедушка Пимен.

Вообще-то бабы неисчерпаемы. Потому что их и так уже пять миллиардов, а каждую секунду ещё на одну становится больше. Будь она хоть старушка, хоть маленькая карапузка, а всё равно по-своему интересна: бабуля опытна и многому может научить, подсказать – на карапузку же приятно смотреть, как она с виду небыстренько, но с каждым днём превращается в девочку, девушку, женщину. А ещё они разных наций, и рас – и говорят даже, что...

– Мужики, а правда что у негритянок манда поперёк? – В глазах чернявого мужичка было только истинное любопытство; и не подумалось, будто он задал этот вопрос от нечего делать, для поддержанья беседы: нет, ясно же – его

эти мысли гнетут, что вот мол, промотал на ерунду целых полжизни, а негритяночку с пылом и с жаром так и не попробовал.

Тут наконец-то вступил Митрий, хозяин, которому до сего мгновенья было неловко молчать в своём доме; и вот:

– Не верь! Я дрюкал в городе негритоску. – Он горделиво оглядел мужиков, вперивших в него свои очи – они сидели на хвостах как орлы на гнезде.

– Расскажи, а. Расскажи, Митя.

Все глухо загомонили, поглядывая к дому, не подслушивают ли их жёны; только дьякон продолжал терзать зубами жирную селёдку, довольно и сыто облизывая пальцы.

– Но это должно остаться между нами. Не дай бог, моя от кого узнает.

– Само собой. Не сомневайся.

Заговорщицким шёпотом, словно какой-нибудь анархист террорист, подзывающий на революцию, румяный Митя начал свой распутный рассказ: – В тот раз мы с напарником распродались хорошо, и пошли отметить это дело в стриптиз.

– Где голые девки? – воскликнул чернявый тихонько.

– Ну да. И среди них танцевала одна африканочка – ох, и вертлявая. Грудки, жопка – прямо кажется будто пламя из трусов вылетает. Я даже обжёгся, когда ей туда деньги засовывал.

– Прямо в трусы? – восхитился чернявый.

– Ну да. И вижу, что я ей тоже понравился. Вышла она в зал, и села мне на колени – у меня тут же встал. Тогда она шепчет мне на ухо – сто долларов.

– Настоящих американских? Это же ползарплаты! – видно было, что чернявому проще вымазать сажей жену, чем отдавать такие деньжищи.

– А как же ты думал. Они, сучки, цену в городе держат. – Тут Митрий налил себе в рюмку, и все мужики следом, даже дьякон. Хряпнули, выдохнули, закусили. – Если б вы только знали, как она надо мной изгалялась. И сверху, и снизу, и...

Тут я бы вам рассказал обо всём, что наплёл нам Митя, да боюсь, не будет мне после этого прощения ни от дьякона, ни от дедушки Пимена. Они ведь тоже всё это слушали, и теперь им стыдно. Так что представьте в меру своего жгучего воображения.

А Митрий, закончив городскую былинку, медленно подкурил чужую сигаретку, дав и мужикам сглотнуть густую тягучую слюну: – Вот так вот бывает.

Всеобщее обалдение длилось около минуты: кто кашлял, кто кряхтел, а иной и вздохнёт от воображаемой услады. Но потом каждого из мужиков словно прорвало: плотина заточения мечтаний и грёз, фантазий и придумок, среди которых попадались редкие обрывки настоящей правды, вдруг стала разрушаться мужицкой бравадой – так всегда случается, когда кого-либо из нас сильно цепляет за живое любовная зависть. Ведь самое тяжкое для настоящего мужчины –

не узнать в женщине того, что знают все остальные.

Даже дедушка Пимен в пылу всеобщего похотливого ража хрипло выкрикнул: – а вот у меня было однажды! – и тут же обернулся ко мне: – Закрой уши, а то сквозняком надует.

Пока они хвастались, дьякон, низко склонив голову к столу, делал вид будто жуёт свою любимую селёдку – но на самом-то деле он смеялся. Видно было, как от сдерживаемого хохота тряслись его широкие костистые плечи, как вздулись щёки и гусиные лапки у глаз. Он-то, мудрила, всё про них знал, про своих дорогих мужиков – только не хотел расстраивать эту победоносную трепотню.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.